



## Собрание сочинений

Юзеф Игнаций  
Крашевский

*Во времена Саксонцев*

История Польши

Юзеф Игнаций Крашевский

**Во времена Саксонцев**

«Э.РА»

1886

УДК 821

ББК 84 (2Пол=Рус) 6-4

### **Крашевский Ю.**

Во времена Саксонцев / Ю. Крашевский — «Э.РА»,  
1886 — (История Польши)

ISBN 978-5-99062-276-0

Предпоследний, 28 роман из цикла История Польши знаменитого польского классика Ю. Крашевского продолжает тему Саксонской трилогии. В нём показаны приход к власти, первые годы правления Августа II в Польше, Северная война. Довольно интересна характеристика автора главных героев этой драмы: Августа II, Карла XII, Петра I, Паткуля, фавориток короля и др. Главный герой романа, саксонский купец Витке, пытается сделать карьеру на дворе нового короля. Он учит польский язык и погружается в водоворот придворных и военных интриг. Однако вскоре он разочаровывается Августом и всем двором, где всё построено на обмане. В целом роман хорошо показывает начальный период правления Августа. На русском языке роман печатается впервые.

УДК 821

ББК 84 (2Пол=Рус) 6-4

ISBN 978-5-99062-276-0

© Крашевский Ю., 1886

© Э.РА, 1886

# Содержание

Том I	6
I	7
II	18
III	26
IV	34
V	44
Конец ознакомительного фрагмента.	48

# Юзеф Игнаций Крашевский Во времена Саксонцев

Времена Августа II



## Том I

### От автора

В нескольких романах, изданных несколькими годами ранее, мы набросали картины нашего общества и нашего двора при Августе II и Августе III («Графиня Козель», «Брюль», «Из Семилетней войны», «Указ Флеминга», «Варшавский староста» и т. д.), мы не хотели и не нуждаемся в повторении, заново рисуя те же самые события и людей.

Только в двух этих добавочных эпизодах мы дополним изображения той грустной эпохи; читатель легко найдёт в более ранних то, чего ему не хватает.

## I

Семнадцатый век был на изломе.

После смерти Яна III после долгих усилий Польша должна была выбрать, вероятно, следующего героя, навязанного ей Францией, кандидата на корону...

Эти попытки были почти непрерывными с прибытия в Польшу Марии-Людвики.

Франция много себе обещала от этого союза против Австрии, когда неожиданно после Яна Ежи IV, умершего без наследников, как претендент выступил Фридрих Август, курфюрст Саксонский и союзник австрийской династии. Тихие, но ловкие усилия, поддержанные золотом, умелое использование вялости и отдаления Франции, наконец, обращение курфюрста в католицизм, обещающее апостольской столице в будущем возвращение Саксонии, решили судьбу Речи Посполитой. Фридрих Август, выбранный меньшинством, но подвижным и деятельным, собирался короноваться в Кракове.

В Саксонии и столице её, Дрездене, только вполголоса, тихо, с некоторой тревогой и грустью говорили об этом событии, которое одним, казалось, обещает рост могущества и процветание страны, для других было угрозой религиозного преследования. Мнения и чувства были очень разные.

Религиозная реформа имела время укорениться там глубоко; привязанность к ней была продвинута аж до фанатизма, поражало как гром, что глава этой новой церкви, правящий, сменил веру, провозгласил себя католиком и, надевая себе на голову польскую корону, отказался от колыбели, которая его вырастила. Протестантское духовенство было взволновано угрозой и тревогой, готовясь к борьбе и вставая в оборону свободы совести.

Со двора, по правде говоря, текли успокаивающие заверения, ручались, что Август должен был торжественным актом обеспечить своим подданным сохранение их веры, опеку над ней; более совестливые люди не могли понять ни легкомыслия, с каким Фридрих Август сменил веру, ни равнодушия, какое показывал новой. Эта открытая политическая торговля совестью приводила их в ошеломление.

Более ревностные протестанты встречались на улицах, спрашивая друг друга глазами, громко, однако, ни о чём говорить не смели, потому что в Саксонии на обсуждение (*resonieren*) смотрели плохо и сурово запрещали. Тут воля царствующего была единственным законом. Двор и господа, окружающие курфюрста, показывали радость и радовались победе. Саксонские дворяне предвидели перемену отношений, неизбежные жертвы, наконец пожертвование их интересам обширного нового королевства.

Какая-то глухая, зловещая, понурая, тяжёлая тишина угнетала Саксонию и её столицу, а на лицах курфюрста и его любимцев светилась радость от одержанной победы.

Кто по сегодняшнему Дрездену и даже по тому, чем он был полвека назад, хотел бы сделать вывод о состоянии той столицы в первых годах правления Августа Сильного, очень бы обманулся. Сегодняшний Дрезден на тот, чем он был при его правлении, вовсе не похож. Того, что позднее должно было представлять главное его украшение, ещё не существовало.

Сегодняшний Старый Город тогда ещё назывался Новым, и хотя около его замка сосредотачивалась жизнь, этот Новый Город достаточно тесно был обнесён стеной.

Только предместья вокруг него растягивались довольно широко.

Значительная часть их, особенно у Эльбы, ещё заселена была вендами, первыми коренными народами и основателями Дрездена.

В шуплых двориках, построенных сербским способом, с подсенями и резными столбиками, жили тут рыбаки, плотники и фермеры, обрабатывающие не слишком плодородную почву. Замок, перестроенный и увеличенный, достаточно обширный, имел не слишком подкупающую внешность, только отдельные его части, недавно украшенные, выглядели изящней,

а вкус в строительстве и щедрость обещали, что вскоре подражатель Людовика XIV создаст тут себе соответствующую своему отменному вкусу резиденцию.

Идя от замка к рынку, называемому Старым, улица, называемая Замковой, хотя в данное время была довольно видной, потому что её украшали более старые, более изящные, с фасада украшенные резьбой каменицы, на самом деле была тесной, тёмной, невзрачной.

Ближе к замку и воротам, носящим имя Георгия, значительнейшая часть зданий принадлежала курфюрсту и вмещала в себя особ, принадлежащих ко двору и его услугам.

Немного далее, к рынку, каменицы были собственностью местных мещан, владениями, издавна остающимися в их руках. В значительнейшей части первый этаж их занимали магазины, конторы купцов, устроенные по тогдашнему способу, скромно и без всякой претензии на элегантность.

Почти каждый из этих домов носил у входа какой-то знак, характеризующий их, по которому их можно было различить.

Чаще всего эти эмблемы одновременно служили знаком вида торговой деятельности, которая там с давних лет размещалась. Были это корабли, колоколы, весы, ножницы для стрижки овец, подковы кузнецов и многочисленные животные.

Не доходя до рынка, по левую сторону от замка стоял довольно приличный дом Витков, над воротами которого веками вырезаны были две рыбы, хотя сегодня уже тут рыболовством никто не занимался, и, кроме сельди, другой рыбы тут найти было нельзя.

Внизу было довольно обширное помещение, его занимал магазин всяких товаров, очень разнообразных, потому что в нём находились поделки из железа, бронзы, олова, стекла и изысканнейшие заморские разнообразные приправы для кухни и вино.

Помимо этих забытых рыб на фронте, на железной ветке висела позолоченная некогда гроздь винограда, значительно уже закопчённая и почерневшая.

Старый Витке происходил из немцев, но по какой-то случайности облюбовав себе очень красивую, бедную девушку в Будишине, из сербов, женился на ней и ввёл в дом славянскую кровь, которая тут невзначай впиталась.

Общеизвестно, что славянское население Саксонии каким-то чудом Провидения смогло сохранить отличительные черты своей народности на протяжении веков. Сначала угнетаемое и преследуемое, с течением времени только презираемое и высмеянное, оно продержалось до сего дня, почти скрываясь друг от друга и стыдясь происхождения. Постепенно, однако, ежегодно славян становилось всё меньше, потому что многие из них полностью германизировались. Существовали ещё законы, хоть пренебрегаемые, ограничивающие свободу тех несчастных элотов, обходили их, принимая внешне немецкий характер, усваивая язык, отказываясь от обычаев.

Мученичество, результатом которого были эти отступничества, тихие, апатичные, молчаливые, даже тем, кто смотрел на него вблизи, казалось малозаметным. Что осталось старославянского, скрывалось и заслонялось из страха, как бы более сильная огласка не пробудила нового преследования, о которых сохранились традиции и воспоминания.

Вплоть до начала девятнадцатого века дрезденское население в предместьях, у Эльбы, было преимущественно славянским. Наплыв немцев позже быстро его заглушил, так, что богослужения в костёлах с проповедями и сербскими песнями остались сегодня единственной памяткой прошлого.

Ходили глухие вести, что и Витки происходили некогда из Вендов, этому даже некоторые приписывали, что старик искал себе жену в Будишине.

Но, однажды прибыв в Дрезден, молодая сербка (её имя было Марта) должна была, подстраиваясь к воле мужа и для отношений с его семьёй, забыть свои старые народные песни, отказаться от одежды и обычаев.

Она и раньше знала немецкий язык, а теперь, вынужденная ежедневно пользоваться этим языком, усвоила его так, что только по маленькому акценту можно было узнать будишинскую мещанку.

Уважение к мужу сделало то, что её происхождение не упрекали, даже узнать нельзя было, что кто-то о нём догадывался.

Тихая, спокойная, работающая, скромная, всегда мягко улыбающаяся и любезная, госпожа Виткова легко приобрела себе сердца всех. Муж, который в обхождении с ней при людях рад был показать своё мужское превосходство, в доме, когда оставались одни, был почти ей послушным и во всём на совет её вызывал. Этим супругам Бог дал одного сына, которого мать любила, нежила, бдила над ним с неутомимой заботой.

Жила только им и для него.

А оттого, что и отец его любил, хотя выдавать свою нежность не хотел, сохраняя отцовскую серьёзность, молодой Витке (при крещении названный Захарием) был воспитан с большим тщанием и затратами, чем обычно мещанские дети. Природа его также наделила способностями и необычайной энергией, и родители имели право радоваться единственным ребёнком.

Отец, естественно, назначил его своим преемником, который должен унаследовать после него торговлю, уже им увеличенную, а в будущем обещающую ещё разрастись. Полностью домашнее образование началось и окончилось без школы. Всякого рода учителей хватало молодому Захарю.

Наука давалась ему легко, хотя особенного расположения к ней не имел. По наследству ли крови, или влиянием впечатлений молодости, мальчик наиболее живо, наиболее охотно занимался практическими вещами, своей жизнью и повседневными делами.

Из здесь и там брошенных слов мать догадывалась, что у него большие амбиции, не ограничивающиеся тем сословием, в котором был рождён и предназначен, но достигающие гораздо более высокие сферы.

Небольшое отдаление от замка, купеческие связи с двором курфюрста, которого Витке часто обеспечивал разными товарами, заранее познакомили мальчика с жизнью и придворным обычаем, он был любопытен до всех этих историй, которые объясняли возвышение одних, падение других. Он знал также очень хорошо, что на саксонском, как на других дворах, люди самого скромного происхождения добивались наивысших ступеней.

Отец, хотя с детства его допускал к тайне и приучал к своей профессии, давал ему при том достаточно свободы, а так как мать её не ограничивала, Захарек имел достаточно времени, чтобы подготовиться к деятельной жизни, освоиться с ней.

Высокого роста, красивой фигуры, блондин, с выразительными голубыми глазами, одарённый врождённым очарованием лица и движений, Захарек, так же как мать, легко себе приобретал все сердца. Его повсеместно любили.

В жизни, какую он вёл при жизни отца, у него было столько занятий, что не мог называться бездельником, но вовсе не был так связан избытком работы.

Мать жалела его, отец пользовался им только в важнейших делах, желая его с ними ознакомить. Впрочем, работы в магазине и дома было достаточно, а мальчику было кем заменить себя, когда хотел освободиться. Таким образом, молодость проходила у него очень счастливо и свободно, а весёлое его настроение свидетельствовало, что ему на свете хорошо жилось. Не слишком избалованный, он имел, однако, всё, чего мог пожелать.

Его мысли, желания, действительно, стремились выше, но об этом, кроме матери, никто не догадывался. Отец в перспективе указывал ему только рост дома, расширение торговли и оптовые спекуляции на высшей шкале. Он не желал ничего; мальчику, может, этого не хватало, он улыбался, слушая.

Старый Витке намеревался открыть второй магазин в Старом Городе за Эльбой, мечтал также о торговле поменьше в провинции, что всё постепенно, без усилий, должно было прийти, но ничего больше.

Тем временем торговля на Замковой улице шла отлично. Знали старого Витке как очень добросовестного в мере и весе, для менее зажиточных толерантного, поэтому теснились в магазин бедные, а более богатые хвалили качество товара и любезность в обслуживании. В Городском совете и в своей гильдии он имел также голос значительный и серьёзный.

Захарию было уже более двадцати лет, когда вдруг это благоприятное состояние дел было поколеблено неожиданной смертью отца.

Здоровому и сильному старому Витке однажды вечером ударила кровь в голову, он потерял речь, мучился несколько дней и, несмотря на старания придворного королевского лекаря, вскоре окончил жизнь.

Для вдовы и сына это был удар, страшный, как удар молнии, но он оставил семью с обеспеченным будущим. Всё после его смерти оказалось в таком порядке, с прогнозированием всяких случаев, что не оставалось сыну и вдове ничего, только подстраиваться под его указания.

Ведение дальнейших дел он оставил сыну вместе с матерью, дальнего же родственника, купца, торгующего сукном на Старом рынке, Баура, назначили скорее советником, нежели опекуном. Баур, того же возраста, что и покойный, был человеком мягкого характера, послушным и всеобще уважаемым, мог помочь, а навредить никоим образом был не способен. Он сразу появился в помощь семье, но после разговора с пани Мартой и её сыном понял, что в его помощи мало нуждались, так хорошо были приучены покойным к ведению торговли. Мать, впрочем, следила за сыном, а Захарий был парень степенный. Средств же для торговли хватало. Поэтому Захарий совместно с матерью завладел магазином, а так как и раньше привык часто заменять отца, трудности не знал ни в чём. Всё осталось в прежнем порядке, сердцам не доставало только честного старого отца, тень и воспоминание о котором, казалось, летают над семьёй.

Мать молилась и плакала, а Захарий, вынужденный теперь входить в детали, просматривать остатки, бумаги, реестры и заметки, постепенно начал создавать планы и намеревался открыть себе более широкое поле деятельности. Он имел много амбиций, которые поначалу сдерживал в себе, теперь, получив полную свободу, дал им взять над собой верх.

Мать, как легко понять, не сопротивлялась ему ни в чём. Советовала осторожность, напоминала о покойном, но соглашалась на всё, чего любимый сын мог пожелать.

Размечтавшемся Захарку становилось всё тесней на Замковой улице.

Вечерами, когда после закрытия магазина приходил он наверх к матери, садясь с ней и старшим помощником за ужин, вырывались у него различные смелые идеи; но только когда оставался один на один с Мартой, поверял ей открыто то, что сновало по его голове.

Были это как бы мечты, над которыми она смеялась, не придавая им большого значения.

Ещё перед элекцией курфюрста королём польским, когда попытки получить корону затмевались, к Флемингу начали прибывать поляки, светские сенаторы и духовенство, пан Пребендовский, шурин его, и те, которых он для саксонского кандидата сумел приобрести.

Первый, может, раз увидели густо передвигающиеся наряды, напоминающие восток, кривые сабли, побритые головы, пышные сарматские усы.

Люди на улицах останавливались, с любопытством к ним присматриваясь, а так как мало кто из пришельцев мог говорить по-немецки, добавлять им должны были проводников и толмачей... иные привозили с собой израильтян в длинных чёрных жупанах и бархатных шапочках на голове, которые им прислуживали ломаным немецким языком.

Чем сильнее утверждалась новость о том, что Фридрих Август также будет царствовать в Польше, а две эти страны под одним скипетром будут соединены, тем Польша больше занимала умы всех.

Молодой Витке, услышав на улице говорящих друг с другом по-польски придворных Пребендовского, с помощью сербской родной речи немного их понял... Это его сильно разволновало, мысли странно забегали по голове...

Как все, кто имел в себе славянскую кровь, он скрывал то, что почувствовал себя их братом... Обязан был этим матери, которая в очень большой тайне перед отцом научила его языку своих дедов и прадедов. Считала это своей обязанностью, которая в её понимании равнялась религиозной. Как Бога предков, так и речь отрицать не годилось в её убеждении... Бедной матери казалось, что ребёнок не был бы её ребёнком, если бы она с ним на этом языке не могла шептаться о чём-нибудь, хоть потихоньку. Поэтому боролась. Нелегко ей давалось утаить это от мужа, научить ребёнка хранить тайну, но исполнила то, что от неё требовала совесть. Захарек говорил по-сербски...

Привыкший, однако, считать себя немцем, он не любил своих соотечественников, прикидывался немцем чистой крови, стыдился бедного происхождения от покорённого и невольничьего племени. Только уважение к матери, желание понравиться ей склонили его к сербскому языку.

Никто также, кроме матери и её родственников, не слышал его никогда говорящим на этом языке, и даже при людях мать спрашивал по-немецки. Вечерами он приходил к ней на эти беседы; она сидела около веретена, он – опершись о стол, с кружкой пива, и разговаривали. Старой женщине это приносило непередаваемое удовольствие, которое светилось на её лице.

В тот день, когда он услышал польскую речь на улице, вечером с необычно мрачным лицом он вбежал к матери, которая его ожидала с послеобеденным чаем.

Разговор, по сложившейся традиции, начался с доклада о ежедневных занятиях и важнейших делах, но Захарек был рассеянным, задумывался, что-то взвешивал, погрузился в какие-то расчёты.

Мать, хорошо его зная, наконец спросила:

– Что у тебя в голове, бедняга?

Мальчик беспокойно потёр чело.

– А! Милая матушка, – отозвался он, – есть кое-что у меня в этой глупой голове, но то, что сегодня мне померещилось, не знаю, может, о том и говорить не стоит.

Старуха подошла к нему.

– А! А! – сказала она. – Тебе ничего померещиться не может, у тебя достаточно ума, и не случайно, наверное, ходишь такой задумчивый.

Захарий усмехнулся.

– Действительно, я хотел тебе кое-что поверить, – сказал он потихоньку, садясь при матери на разрисованный старый ящик для приданого, который стоял под окном. Был это один из тех, которые некогда представляли скромное приданое старушки.

Пани мать уставила в него с любопытством глаза.

– Ты знаешь, матушка, – начал он, – что та польская речь, которую я сегодня слышал, так похожа на твою (не выразился – нашу), что я её почти всю могу понять. Вот, мне приходит в голову, что этим можно бы воспользоваться. Откроется Польша для нашей торговли, на каждом шагу посредники будут нужны, чтобы саксонцы поляков и поляки саксонцев понимали. И в Варшаве, и в Дрездене двуязычных людей не хватит. Если бы я хорошо выучил польский, что у меня с лёгкостью получится, я мог бы легко быть поляком в Варшаве, немцем в Дрездене, или согласно необходимости, попеременно! Что ты на это скажешь?

Его глаза смеялись этим счастливым идеям, и, помолчав мгновение, когда мать его не прерывала, продолжал дальше:

– Даже сам его величество король-курфюрст наш без доверенных посредников не обойдётся. Наша торговля на этом много приобретёт, и я...

Он заколебался докончить и исповедать полностью свою мысль, встал, чтобы пройтись по комнате. Глаза матери беспокойно пошли за ним.

– Видишь, Захарек, – сказала Марта, – как хорошо вышло, что я тебя научила нашей речи. Я не знала, что она похожа на польскую...

Витке приложил пальцы к губам и шепнул:

– Не нужно выдавать этого, чтобы и другие не пошли той же дорогой.

Мать поцеловала его в голову. Захарек задумался снова.

– Я очень хочу, – добавил он, – лучше это рассмотреть... ну и, может, потом какого-нибудь поляка уговорить, чтобы от него быстро научиться отлично говорить по-польски. Мне языки даются легко, только не из грамматики, а из разговора. Когда выучу польский, это даст мне некоторое преимущество над другими немцами. Кто знает? Может, этим способом и до двора достану.

Лицо матери нахмурилось какой-то заботой, она медленно сложила руки.

– А! Дитя моё, – шепнула она со страхом, – мне не хотелось бы лезть на двор. Лучше стоять подальше от него... Там, действительно, можно много приобрести, но и всё потерять.

Захарек с выражением отваги покачал головой.

– А! – воскликнул он. – Кто не рискует, тот ничего не имеет!

– А чего мы добиваться? – прервала мать. – Разве недостаточно работы нам оставил отец?

Сын молча посмотрел на неё.

– У нас всего вдоволь, – отозвался он, – это правда. Состояние увеличивается и растёт, но почему бы не воспользоваться этим и не стараться о ещё большем. Богатство даёт возможность делать больше добра, мне оно не надобно, но хочется мне выше! Выше!

Мать вздохнула.

– Я хорошо знаю, – начала она говорить, – что собственность нас, мещан покорных, освобождает и поднимает. Не одного богатого сделали дворянином, не один получил при дворе должность, но, дитя моё... сосчитай-ка тех, что, поднявшись, с вершины падали. Разве нам недостаточно того, что есть.

Захарек только махнул рукой и замолчал, но по игре его физиономии видно было, что пылкие мысли, кои его осаждали, не отпустили.

В этот день они не говорили уже больше о смелых мечтах, однако у матери несколько смелых слов сына крепко укоренились в памяти и сердце. Она знала настойчивую натуру Захарка, который с трудом за что-нибудь брался, но, раз что-то начав, охотно не бросал.

В течение всего следующего дня Марта ходила по своему хозяйству, как обычно; но голова её была забита тем, в чём ей сын признался вчера. Её охватывал великий страх за будущее. Тогда почти никто в Саксонии не знал Польшу ближе, её состояния и обычая: одни провозглашали эту страну неизмеримо большим и богатой, другие – наполовину варварской.

Благодаря языку, похожему на сербский, влекло госпожу Марту к полякам; она чувствовала в них братьев, но гордая и дерзкая внешность её отталкивала.

Впрочем, старуха предпочитала для сына спокойно торговать в собственном доме, чем бросаться на смелые предприятия, результат которых было трудно предвидеть.

На следующий вечер они сошлись снова, Захарек поздоровался с матерью ещё более оживлённый и весёлый, его молодое лицо смеялось.

Действительно, раз появившаяся мысль всё дальше в нём росла. Он утверждался в убеждении, что курфюрст в отношениях с новой страной будет нуждаться в людях; чувствовал себя расположенным к этим услугам; нетерпеливый, он постарался уже о старой книжечке, изданной во Вроцлаве для силезцев, что для торговли с Польшей хотели изучить её язык. Опасности, о которых вчера намекнула мать, его вовсе не поразили. За ужином Марта сама заговорила об этом снова, расспрашивая, что решил, и надумал ли что нового.

– Ты с кем-нибудь виделся? – спросила она.

– О! Я! – сказал, смеясь, купец. – Когда у меня что на сердце, я времени не теряю, упорствую в том, дорогая мамочка, чтобы что-то начать, и не откладывая, потому что могут убежать. Я ходил в дом Флеминга возобновить там знакомство и вступить в контакт с поляками, которые прибыли с его сестрой, или родственницей. Так есть, как предвидел, поляки ходят как заблудившиеся, нуждаются в пристанище и посредниках. Мы тоже не знаем, как к ним приступить... Они нашего Дрездена, мы их Варшавы не знаем, ни Кракова. Первый, что завяжет близкие отношения и осмотрится в Польше, может у курфюрста приобрести популярность и влияние.

Зачем пользоваться одним только Hofjuden? (евреи двора). (Так звали тогда банкиров-евреев, которые обеспечивали курфюрста деньгами).

– А! – прервала мать. – Тебе ли им завидовать? Зачем нам лезть на двор? Я уважаю и почитаю нашего пана курфюрста, но, мне кажется, что нам, людям купеческого сословия, переться в замок, к панам, опасная вещь. Больше там потеряется, чем приобретётся. Мы для этого не созданы.

Отец твой, дитя моё, следил за своей торговлей, присматривал за мерами и весами, старался о свежем товаре, но на двор не тиснулся, даже с радостью его избегал. Зачем ты хочешь новых дорог искать?

Старушка замолчала, мгновение всматриваясь в сына, который, задумчивый, ничего ей не отвечал; а потом продолжала дальше:

– Я опасаясь курфюрста; не потому, что подковы ломает, как сухарики, серебряные кубки гнёт, как бумагу в горсть, и лошадям одним махом головы срезает, но то, что люди для него являются только инструментами, которых тот не пожалеет. Разрешено ему, наверное, больше, чем иным, мы в его дела вдаваться не имеем права, но молодость из него ещё не выкипела... Ты должен был слышать, что болтают на ярмарках в Лейпциге, на водах, в Карловых Варах, сколько за собой любовниц возит, как сыплет деньгами, роскошь и избыток любит, какими людьми окружает себя, как с ними обходится, когда ему противоречат или надоедают. Из тех, что недавно развлекались с ним в замке, не один сегодня в Кёнигштейне. Зачем самодостаточному, спокойному, как ты, человеку, подвергать себя, когда выгода неопределённая, и потеря жизни и свободы не стоит?

Госпожа Марта вздохнула. Сын поцеловал её в плечо.

– Послушай же меня, – произнёс он, – потому что я тоже, хоть не сам, но через людей знаю курфюрста лучше, чем ты из годоских сплетен. Правда, что он легкомысленный, кровь в нём горячая и ни в чём себе не отказывает, но, служа усердно именно такому господину, когда ему чего захочется, в добрый час можно больше заработать.

– А зачем же тебе служить, – прервала мать, – когда можешь быть сам себе господином, никому не кланяясь?

– На что? – подхватил, смеясь, Захарек. – Из-за того, что великие амбиции имею! Желаю не только приобрести, но выбраться из этого нашего мещанского сословия, в котором мы не больше простого холопа значим.

Мать погрузнела.

– Всё-таки твой отец, дед и прадед были только мещанами и купцами, и не хуже им с этим жилось, – начала она мягко. – С огнём играть опасно. Где много заработать можно, там также потерять можно, даже жизнь. И ты, наверное, слышал, что говорят о курфюрсте, что, когда у него кто-нибудь в малейшем деле провинится, не простит ему и, хоть сегодня улыбается, завтра готов запереть или убить. Молодой, горячий, кровь в нём играет. Он страшный... а! Страшный!

Захарек слушал, и, вовсе не утрашённый, улыбался.

– Я всё это знаю, – сказал он, – но умный человек подставляется более сильному, чем он, служит ему... как раз около такого пана, у которого горячие фантазии, проще чего-то добиться.

Впрочем, – добавил он, – будь, матушка, спокойна... не испробовав хорошо грунт, ни одного шага не сделаю. Между тем это верная вещь и ничем не грозящая, что между нами и поляками нужен какой-нибудь связной, посредник... Я обязательно хочу на такого подготовиться.

Я найду, надеюсь, поляка, который научит меня языку, хотя бы разговором и чтением. Поеду потом посмотреть на Варшаву и Краков, подумаю, не следует ли где-нибудь там открыть магазин; а из магазина сделать такую пристань, к которой бы с обеих сторон приплывали для обмена...

Говорил это Захарек весело, энергично, и так был уверен в себе, что доверяющую ему мать не только успокоил, но почти приманил её на свою сторону.

– А! – сказала в итоге женщина с покорной резигнацией. – Ты мужчина! Лучше знаешь, что подобает делать. Чувствуешь в себе силу, я тебе, конечно, не сопротивляюсь. Прошу только, будь осторожным, не действуй слишком смело.

Помолчав немного, она говорила дальше, понизив голос:

– Ты знаешь о том, что мои родители были католиками. Твой отец также позволил мне остаться при моей вере... потому что я от неё ради него отречься не могла. Он только хотел, чтобы ты исповедовал его религию и я на это должна была согласиться. Ты знаешь, что я потихоньку хожу в нашу часовенку, когда при закрытых дверях священник совершает нам мессу, ты молишься в кирхе Креста (Kreuz-Kirche). Не будем даже говорить о том никогда...

Курфюрст, став католиком, потому что все говорят, что он уже им стал, перешёл в мою веру, правда, и я должна бы этому радоваться... но я скажу тебе, что мне это кажется непостоянством, потому что религии, так, как одежду, менять не годится.

Захарек только нахмурился.

– Э! Э! – прервал он кисло. – Это его дело! Мы не должны его судить.

– Я его также не осуждаю, – закончила старуха, – только предостерегаю тебя, что тот, кто так легко ведёт себя с Богом, возможно, так же будет вести с людьми, когда ему кто-нибудь помешает?

– А зачем ему мешать? – отпарировал Захарек. – Как раз в этом вся штука, чтобы не помехой быть, а помощью, без которой обойтись трудно.

Старушка молчала. Через минуту только бросила вопрос:

– Но! Откуда у тебя эти желания? Откуда пришли эти мысли?

– Откуда! – отпарировал весело Захарек. – От тебя, мама! Если бы ты меня сербскому не учила, а я польского языка не понял, услышав его, никогда бы, наверное, не мечтал о том. Следовательно, это твоё дело... Знание твоего языка очень облегчит мне изучение польского, а когда им овладею, без меня не обойдутся. Хо! Хо!

С некоторым страхом, но вместе восхищением сыном, мать слушала, пожирая его глазами.

Захарек приблизился и поцеловал её в плечо.

– Матушка, – закончил он, – будь спокойна, а об этом никому ни слова. Не обдумав, я шага не сделаю, за это ручаюсь.

Спустя пару дней между матерью и сыном почти уже о том речи не было.

Госпожа Марта заметила, что Захарек постоянно был очень деятельным, несколько раз в течение дня выходил из магазина в город, оставляя его старшему помощнику, и дольше там был, чем обычно.

Наконец одного вечера в каморку при магазине, в которой Захарек обычно отдыхал и приглашал своих близких гостей на кубок вина, он привёл с собой невиданного там ещё человека, внешность и костюм которого выдавали поляка.

Старой Марте, часто очень удачливой в определении и оценке людей, перед глазами которой промелькнул этот гость, прибывший вовсе не понравился.

Очень высокого роста, худой и костистый, с огромными руками и стопами, несмотря на молодые годы, сутулый, с жёлтым и длинным лицом, с конусообразной головой, покрытой тёмно-коричневыми, коротко подстриженными волосами, одетый в чёрный костюм, без сабли сбоку, гость имел какое-то пугающее выражение лица. Его небольшие глазки украдкой бегали вокруг, стараясь, чтобы их не поймали; на губах скрывалась странная улыбка или, скорее, кривляние, выражение которого трудно было отгадать. Также легко могло оно перемениться во вспышку гнева или насмешки. Хотя ему казалось не более тридцати лет, незнакомец имел морщинистый лоб, щёки покрывали грубые морщины. От молодости у него не много уже осталось.

Он так несмело и осторожно шёл за ведущим его в магазин, а потом в каморку Захарком, как если бы боялся быть замеченным, или чувствовал, что не должен тут находиться.

Его привёл Витке, очень оживлённый и весёлый.

Посадив его в каморке на свой стул за столом, Захарий вернулся в магазин, чтобы приказать подать вина, и немедленно, выдав приказы, вернулся, садясь на лавку рядом с гостем.

Прибывший, не теряя времени, с неизмеримым любопытством рассматривал углы, точно хотел проникнуть в самые тайные их глубины, самый мелкий предмет не ускользнул от его внимания. Разговор не начинался, пока магазинный слуга в фартучке не принёс на деревянном подносе бутылку с вином и кубки. Хозяин сразу налил их и начал с рукопожатия.

– Ваше здоровье и всех панов поляков, милых наших приятелей и союзников, – сказал он весело. – Ну, как же вам у нас нравится?

Захарий заговорил по-немецки, прибывший слушал с напряжённым вниманием, как бы не очень легко было понять, а когда дошло до ответа, сначала замялся, тревожным взором обежав каморку.

– Как же могло не понравиться? – произнёс он сразу особенной немецкой речью, каждое слово которой, казалось, ищет с усилием и неприятным трудом. – Двор нашего будущего короля и вашего курфюрста по-настоящему королевский, в городе виден недостаток... везде весело, постоянные забавы. Как же могло не понравиться? – повторил он ещё раз. – Тут только жить.

– А у вас там как? – спросил Захарий.

– У нас, – говорил поляк, – неизвестно ещё как будет, потому что с каждым королём иначе бывает... Тем временем после шумного бескоролья мы имеем аж двух королей.

Он криво усмехнулся.

– Но из француза не будет ничего, – добавил он после раздумья.

Витке осторожно обратил разговор на торговлю.

– Определённо, – отозвался он, – что теперь, если курфюрст удержится, между нашей и вашей столицей отношения и торговля оживятся, чего до сих пор не бывало. Мы вам Силезию заменим. Из наших господ многие, первый, наверняка, Флеминг будет сопровождать курфюрста в Краков и Варшаву... Ему будет нужно то, к чему дома привык, не всё, может, найдётся... Поэтому мы, купцы, должны думать заранее, как этому помочь, а притом и заработать на этом, потому что за всякую работу заработок следует.

Гость головой подтвердил эту аргументацию, потягивая из кубка вино, которое было явно ему по вкусу.

– Без языка, – говорил далее купец, – человек как без руки, а прислуживаться переводчиками не очень удобно и не всегда безопасно.

Гость, по-прежнему соглашаясь, помурлыкивал и глазами бегал вокруг, а когда слуга, о чём-то спрашивая пана, отворил дверь, взгляд последовал прямо вглубь магазина.

– Я, – сказал Захарий, – я бы первый рад выучить ваш язык, для этого у меня есть некоторая помощь; потому что, имея сербских слуг, из Лужиц, немного привык к подобному языку.

Слушающий казался сильно удивлённым, как если бы в первый раз узнал о той сербской речи в Саксонии.

– Похожа на польскую, – прервал он живо, с интересом, – смилуйтесь, скажите мне несколько слов.

Витке, как если бы не хотел выдать того, что отлично знал сербский, будто бы что-то начал припоминать, и произнёс несколько слов вместе с их немецким значением.

Гость показал великое недоумение.

– Что же это, – ответил он, – на чешскую речь смахивает, но, действительно, очень похожа на нашу. Если вы хотите освоиться с этим языком, наверное, вы легче, чем другие немцы, сможете выучить польский.

– Я этого очень хочу, – добавил Витке, – но без учителя обойтись трудно.

Он посмотрел тому в глаза. Их взгляды встретились, у гостя в глазах блеснуло, он почти выдал, что ему доставляло радость желание купца, о котором догадался.

– Долго тут думаете остаться? – спросил Захарий.

– Я? – потягиваясь, выцедил поляк, который, казалось, размышляет, как должен солгать. – Я? По правде говоря, не знаю. Пани Пребендовская взяла меня сюда с собой для писем и для надзора над своим двором, кто знает, как она долго тут пробудет. Я, впрочем, не связан, и отказался бы, если бы мне выпало что-нибудь получше.

Витке подумал.

– Вы, должно быть, имеете хорошее положение у пани Пребендовской, – сказал он холодно.

Гость снова задумался с ответом, рот ещё дивней искривился.

– Место моё неплохое, – сказал он, – сказал он, – но оно больше в будущем обещает, чем мне сейчас даёт. Пребендовские теперь пойдут далеко.

Он резко прервался, опустил глаза и замолчал.

– Если бы вы тут дольше остались, – вставил осмелевший Захарий, – вы могли бы, может, найти для меня несколько часов в день и быть моим учителем. Хочу научиться польскому языку, для торговли, и быстро... Естественно, я не хочу требовать этой услуги задаром, а заплатить могу даже хорошо, потому что мне возвратится.

Гость охотно кивнул головой... Витке наливал ему уже третий кубок.

– Я только вас попрошу, – продолжал дальше купец, – чтобы люди не знали о том, что я учу польский.

– Для меня также важно, чтобы Пребендовская не проведала, что я кому-то служу больше, чем ей, – пробормотал, выпивая, гость.

– А! – рассмеялся Витке. – Попав в немилость к Пребендовским, вы сразу легко найдёте себе место, зная немецкий, а Пребендовские известны, подобно Флемингу, тем, что скупы.

Поляк утвердительно кивнул, но, осторожный, говорил он не много, возможно, потому, что чувствовал в себе вино, которое кружило ему голову.

– Я, я, – заикался он, когда купец замолк, – не думаю, что всегда буду держать дверные ручки Пребендовским. Человек должен помнить о себе, потому что другие о нём не подумают. Я сирота, сам себе господин и слуга. Как бедный шляхтич, я не имел для себя иной дороги, только одеть духовное платье.

Говоря это, он потряс полой своего длинного чёрного одеяния, точно оно его обременяло.

– Но двери ещё за мной не закрылись, могу, когда захочу, вернуться в мир. Я по выбору могу направиться туда, куда мне кажется удобным, ищу, размышляю, пробую. Пребендовским временно понадобился секретарь... я пристал к ним, чтобы что-то делать... я не связан, нет...

По слову Витке заметил, что старое испытанное вино подействовало.

– Платят вам всё же? – спросил он, меряя его глазами.

Гость рассмеялся и пожал плечами.

– Платят, платят, – начал он, насмешливо бормоча. – Всё-таки что-то платят! Получу подарок на Новый Год, справят мне одежду, иногда под хорошее настроение от скупого пана что-нибудь неожиданно обломится... Есть время рассмотреть... есть оказия прислушаться.

Он сплюнул и, осушив рюмку, отодвинул её, показывая, что с него уже достаточно. Лоб покрылся испариной.

Витке смотрел и слушал.

– Я вас, – сказал он, подумав, – отговаривать от Пребендовских не намерен. Они вас в действительности могут протолкнуть, но служба тут у них – это неволя, и ничем, кроме надежд, не оплачивается... Осмотритесь...

– Я так и делаю, – потирая огромные руки, сказал гость, – до сих пор не было вариантов лучше.

Оба замолчали. Захарий хотел ему долить ещё, тот решительно отпирался; он собирался уже уходить, когда купец, опёршись на стол, потихоньку с ним начал обговаривать условия учёбы.

Пан Лукаш Пшебор, потому что так звали секретаря пани Пребендовской, вышел оттуда через полчаса, хорошо захмелевший, улыбаясь себе и мерзко искривляя губы.

– Этому немцу не терпится, – говорил он про себя, – жадный до денег, как они все. Пошёл наш язык в цену! Кто бы надеялся, пан Лукаш на этом выгадает.

## II

Было раннее утро. Вчерашним вечером во время обычной игры при рюмках курфюрст, против своего обыкновения, был очень задумчив, не показывал весёлости, и ни остроумием товарищей, ни вином из задумчивости себя не давал вывести. Наконец он удалился со своим любимцем полковником Флемингом и бароном фон Роз.

На следующий день раньше, чем обычно, Флеминг находился уже в кабинете, прилегающем к спальне курфюрста.

Как всё, что окружало любящего роскошь и броскость Фридриха Августа, этот кабинет также отличался великолепием вещей, обивки и украшений, бросающихся в глаза. Золото светилось на креслах, блестело на обоях, на карнизах, и даже ковры, которыми частью был выстелен пол, были пронизаны золотыми нитями. На удобном, широком стуле, наполовину одетый, сидел, опершись рукой на стол, недавно избранный польский король, и странно это отличалось от окружающей роскоши и элегантности, курил короткую трубку, пуская густые клубы дыма.

Это фигура была такой поразительно панской и красивой, что везде обращала на себя внимание. Среднего роста, чрезвычайно правильно сложенный, с тёмными волосами и глазами, будто бы изящно улыбающимися, Август, может, в Саксонии, где красивых мужчин хватало, был самым красивым из всех. Прежде чем судьба одарила его короной, все соглашались с тем, что имел королевскую внешность.

Уже тогда его сравнивали с Людовиком XIV, хотя величественная эта внешность, важность и красота, которая их смягчала, имели свойственный ему характер. Те, которые дольше и ближе с ним общались, знали, что они были в значительной части плодом великого самообладания над собой, потому что этот курфюрст в кружке своих приятелей, после обильно наполненных чарок, в которых мало кто мог с ним соперничать, совсем менялся и становился до безумия весёлым и свободным сотрапезником. И тогда, однако, кто бы с ним чересчур себе позволил, нашёл бы грозного льва, стянутые брови которого выражали тревогу.

Обычно, однако, Август любил веселье, окружал себя им, шуточные беседы задавали тон и им счастливо заслонял свои более серьёзные мысли.

Сияющее, прекрасное и милое, почти кокетливо улыбающееся лицо его было маской, старательно прикрывающей выражение, какое должно было принять, отражая свои настоящие впечатления, скрываемые перед светом.

Те, что его знали, были в курсе, что и любезность, и весёлость чаще всего были обманчивыми симптомами. Показываемая порой чувственность наполняла страхом, объявляя подходящую бурю, а громкий смех заменял вспышку гнева. Те, что смолоду были при нём, шептали, что более лживого человека, чем он, и более холодного сердца, чем у него, не знали, несмотря на сладость, с какой Август всех приветствовал, и заверений в милости, которыми щедро одаривал.

Сильный как лев, как тот король пустыни, он был опасен, а когда, что не много раз в его жизни случалось, отпускал поводья страсти, доходил до забвения без границ.

Однако глядя на него в обычные часы жизни, никто бы не мог не отгадать под полным сладости выражением лица ледяное равнодушие и ужасающий эгоизм... Тёмные глаза, изящно прикрытые веками, придавали ему таинственное выражение. Всё в нём было поддельное и искусственное, но комедия так уже стала натурой, что только посвященные в неё были осведомлены о закрытой на семь печатей душе.

Стоящий перед курфюрстом в эти минуты полковник Флеминг принадлежал именно к ним. С недавнего времени с прусской службы пересаженный на двор Августа, поморский дворянин, племянник фельдмаршала, среди доверенных, среди приятелей он занимал самое первое место. Ему все завидовали, никто этого объяснить не мог.

Маленького роста, но гордой, энергичной физиономии и фигуры, он поражал одним только дерзким выражением, надменностью, резкими движениями и презрительным пренебрежением, какое всем (разумеется, кроме господина) показывал. По отношению к нему он был порой даже смелым и несдержанно колким. В одежде только тем отличался, что повсеместно тогда используемые парики носить не хотел, и собственные волосы, небрежно связанные на затылке, находил более удобными, не заботясь о моде. Это его не смущало, потому что лицо, хоть им гримасничал, имело черты деликатные и достаточно красивые...

После короткого приветствия курфюрст всмотрелся в приятеля и, помолчав, сказал:

– Итак, элекция свершилась, миллионы высыпаны, начало сделано, курфюрст будет называться королём, но что дальше? Не думаю, чтобы ты видел в этом *metam laborem* и конечную цель.

Флеминг резко передёрнул плечами.

– Я надеюсь, ваше королевское величество, не подозреваете меня, – резким голосом произнёс полковник, ставя ударение на титуле королевского величества.

– Оставь же в покое титулы, слышишь, – прервал Август, – хочу, чтобы ты по-старому был моим приятелем и братом.

Флеминг живо поклонился и выпрямился.

– Думаешь, что мы удержимся против Франции и контистов? – спросил курфюрст.

– О том нечего говорить, – забормотал полковник. – Мы сделали шаг, отступить не время... французская пословица говорит: вино утекает, его нужно выпить.

Август рассмеялся.

– Этого вина хватит нам надолго, мой Генрих, – произнёс он с нежностью и сердечным доверием, – поговорим об этом с тобой одним открыто, совсем искренно могу говорить... Добиться польской короны... деньгами, при твоих связях было не слишком трудно, но не это цель для меня. Королевский титул? Безделица... Польза от этого приобретения... сомнительная, речь о том, чтобы курфюрст саксонский... доделал то, чего приятели его, Габсбурги, работая несколько веков, не могли осуществить... Им хотелось, как Венгрию и Чехию, поглотить Речь Посполитую... ещё сегодня их глаза устремлены на неё... ну, Флеминг, а мы?..

– Мы? Мы будем счастливы, я надеюсь, потому что уже держим в руках поводья, – сказал полковник, – вскочить на седло будет легко...

– И удержаться на нём и этого скакуна или наровистого иноходца привести в нашу конюшню, – смеясь, говорил курфюрст. – Ну ты меня понимаешь!

– Отгадываю и понимаю, – вставил полковник. – Это задача, достойная вас...

У курфюрста заблестели глаза.

– Ты знаешь, что я уважаю Габсбургов, люблю их и благоприятствую им, – говорил он далее, – что императорский дом у меня в большом почтении, но трудно уступить ему этот счастливый случай, когда он сам навязывается. Имели время, пробовали... не сумели ничего... моя очередь... Речь Посполитую с её нелепыми вольностями нужно однажды от основания переделать в наследственную монархию, и навести порядок... Там господствует такой беспорядок, какого я мог себе желать... Думаю, что пробил час, и что он мне предназначен.

Флеминг молчал, слушая. Затем курфюрст вставил:

– Что ты на это скажешь?

– Против этого ничего не имею, – медленно ответил приятель, – но нужно себе заранее сказать, что император, который нам по-приятельски обещает быть помощью, что курфюрст Бранденбургский, не считая других... помогать в этом явно не будут.

– О, нет, – воскликнул Август, – потому что сами на этот кусок зубы точили, но...

Поглядели друг другу в глаза и оба рассмеялись. Август вытянул руку...

– Ты меня понимаешь, поэтому поговорим об этом, поговорим... мне нужен кто-то, с кем бы я обо всё этом мог обсудить. Ты знаешь Польшу?

Лицо Флеминга, который к постепенному рассуждению не был привычным, гораздо больше чувствовал себя созданным для дела, чем для слов, и обычно коротко и решительно только случаем делился своими мыслями, немного омрачилось. Август требовал от него как раз то, что ему давалось трудней всего. Живой темперамент, расположение, привычка делали для него долгое рассуждение трудным. Он живо понимал и тут же привык запечатывать безапелляционным заключением, мастерски брошенным. Август это знал, но именно в этот раз свои мысли хотел на ком-то испробовать, а почти никому, кроме Флеминга, не доверял. Никому на свете, кроме него, доверить их и даже в них признаться не решился бы. Были это его великие тайны, которые бы в глаза выдавать преждевременно не годилось. На вопрос: «Ты знаешь Польшу?» Флеминг отвечал нетерпеливым покачиванием головы.

– Мы её все знаем, – выпалил он вдруг, – и никто её не знает. Нужно в ней родиться и жить, чтобы понять.

Флеминг пожал плечами.

– Через мои семейные связи, – сказал он, – и через мою кузину каштелянову я немного научился понимать поляков. Мне сдаётся, что с ними всё можно сделать, но уметь нужно...

Курфюрст молча указал на лежащие на столе деньги, давая понять, что эффективней всего было бы начинать с них.

– Это обычное средство, – ответил полковник, – но не всех в Польше можно взять деньгами. Везде там есть продажные люди... но там, кроме золота, нужны ум и ловкость. Играть как в шахматы с этими панами и с их свободами, о которых такие ревнивые...

Август с издевкой усмехнулся на упоминание о свободах, Флеминг также презрительно скривился.

– Высыпать миллионы, – сказал король тихо, – чтобы носить выборную корону, которую после себя нельзя сохранить... игра не стоит свеч. Ты знаешь, что я намерен на востоке Европы построить новое, сильное государство, присоединяя к моей наследственной Саксонии новую наследственную Польшу.

На столе лежала наполовину развёрнутая карта Европы, энергичным движением руки Август широко её разложил и пальцем указал Флемингу восточные её границы, а потом западную часть, Силезию и Саксонию. Смотря на огромные пространства, занятые этими странами, он улыбнулся.

Флеминг приблизился к столу.

– В любом случае целым не сможете завладеть, – шепнул он. – Нужно будет Бранденбурга купить...

– Королевским титулом, – вставил Август.

– О! О! Он им не удовлетворится! – говорил тихо, отрывистыми словами полковник. – Территориальные уступки будут необходимы...

– Пусть бы! – сказал король. – Есть из чего хотя бы два королевства скроить.

– А царь тоже желает урегулировать границы, – прибавил Флеминг.

– Я на это рассчитываю, – подтвердил король, – смотря что останется...

– Думаете, что император при той возможности не попробует также что-нибудь приобрести? – отозвался полковник.

– Император? – сказал Август. – Не может требовать ничего, мы с ним в хороших отношениях, он ко мне расположен, и знает, что, помогая, приобретёт союзника против Франции, который его людьми и волонтёрами может подкрепить...

– На этом ещё не конец, – говорил Флеминг, – у Турции нужно забрать Каменец, оторвать Молдавию и Валахию...

– На сегодня достаточно! – смеясь, вставил живо король, бросая карту, которая свернулась в трубку и скатилась на пол.

Флеминг поспешил её поднять.

– Если бы я верил в предсказания, – шепнул король, – был бы это плохой *omen*<sup>1</sup>.  
Оба пожали плечами.

Флемингу очевидно не нравились долгие разговоры, поднял глаза к своему господину, который стоял задумчивый.

– Всё это, – добавил он, – не может завоеваться одним махом. Нужно пошагово, медленно, сначала заполучить Польшу внутри и тут начать действия. У нас есть войско, будем иметь деньги.

– Чёрное братство, – шепнул король, – пожертвует нам их... в залог драгоценностей... на его помощь мы должны также рассчитывать...

Казалось, полковник уже не хотел слушать, покачал головой.

– Всё это я так же хорошо знаю, как вы, – прервал он живо, – тем временем, нужно уладить, что ближе, что срочнее. Ввести наши войска в границы Речи Посполитой, не обращая внимания ни на какие крики, шум и протестацию... Совершить коронацию.

– Конти, наверно, прибудет, – отозвался король, – прогнать его стоит также в программе... Примаса приобрести... От Собеских избавиться... Варшаву занять...

Говоря это всё тише, Август глубоко задумался, его голос замер на устах... Флеминг изучающе смотрел на него.

– Запиши себе и то, – сказал он, доверчиво наклоняясь к нему, – чтобы никто в эти планы вовлечён не был... Достаточно дать огласку, и даже только дать понять, чтобы они сошли на нет. Я боюсь стен, как бы не подслушали и не предали. Когда однажды разнесётся по Польше, что новый король стремится к *absolutum dominium*, мы не будем иметь покоя... Подозревали о том всех...

Наступило молчание, было полное согласие, нечего было поверять друг другу. Август подал руку приятелю и коротко закончил:

– Мы двое, никто больше!

Полковник вставил живо:

– Прибыл епископ Куявский *incognito* для соглашения.

– Привёз что-то новое?

– Ничего, только свою готовность к услугам, – сказал Флеминг. – Тем временем ему будет достаточно оплатить должностью примаса, которую он присвоил.

– Я очень ему рад, – отозвался король, – но этого недостаточно, он имеет влияние, для себя и для меня, должен стараться увеличивать кружок наших сторонников в Польше.

– Сдаётся, что несколько у него в кармане! – сказал Флеминг.

– Естественно, не даром, – отпарировал Август, – я соглашаюсь на всякие условия, но нужно стараться о деньгах. Священники нам так скоро не обещают, тем временем должна обеспечивать Саксония... контрибуции... акциза... понимаешь...

– Акциза! Да! Идея хорошая, – сказал Флеминг.

– Нужно только найти человека, который бы её, будь что будет, не обращая ни на что внимания, ввёл в обращение, – добавил король. – В Саксонии мне нет надобности спрашивать дворянство, прикажу что хочу... Так со временем и в Польше мы должны устроить... Если будет недовольно саксонское дворянство, нужно его в правительстве заменить иностранцами. Эта наилучшая система. Иностранцам на моей службе нет необходимости ни на что смотреть. Страна их не интересуется... не зависят от неё и ничего ей не должны, обеспечивает их всем...

За дверями кабинета послышались размашистые шаги, и король вдруг умолк, прикладывая к губам палец. Флеминг отошёл немного в глубь... дверь открылась и выглядящий очень аристократично, пански и гордо мужчина средних лет на пороге низким поклоном приветствовал курфюрста и, оглядевшись, лёгким кивком приветствовал полковника.

---

<sup>1</sup> *omen* (лат.) – знамение.

Этот новоприбывший, которому Август любезно, но с некоторым принуждением улыбнулся, уже по внешности был похож на высокого сановника. Был это действительно не так давно привезённый сюда из Вены наместник, князь Эгон Фюрстенберг. Красивый мужчина, очень тщательно одетый, имел он загадочное выражение лица, больше старался показать уверенность в себе, чем главенствующую силу. Какое-то беспокойство выдавалось в движениях и выражении лица. Король поспешил его тут же спросить о каком-то текущем деле, касающемся города... а Флеминг, договорившись с господином взглядом, поклонился и выскользнул.

Прямо из замка полковник, не садясь в карету, которая его ждала, направился к Замковой улице. Дом, в который он вошёл, относился к строениям, соединённым с дворцом курфюрста; его занимал один из приближённых любимцев и придворных курфюрста... но стоящая коляска, грязная, наполовину разгруженная, позволяла догадываться о недавно прибывшем сюда госте.

На первом этаже Флеминг встретил слуг в польских одеждах... Миновав приёмную, полную челяди, в зале, которую отворил, он чуть ли не на пороге встретил уже идущего навстречу мужчину.

Тёмный костюм, по крою католических духовных лиц, так странно был перекроен и одет, что нельзя было с уверенностью сказать, к какому сословию принадлежал его обладатель: к светскому или духовному. Маленького роста, кругловатый, пухлый, с гладко выбритым и полным лицом, с чёрными живыми глазами, с выпуклыми губами и широко, тупо подстриженной бородой, из-под которой уже выглядывал подбородок, с постриженной головой, на которую довольно неумело был скорее наброшен, чем надет, парик, незнакомец приветствующий Флеминга безвкусным французским языком, казалось, очень ему рад.

Флеминг пытался ему улыбнуться... Поздоровавшись с некоторой спешкой, особенно со стороны пухлого господина, они отошли от двери к окну, шепчась и взаимно любезничая.

Прибывший, который постоянно беспокойно поправлял на себе одежду, живостью не уступал Флемингу.

– Значит, буду иметь удовольствие видеть его величество? – спросил он наконец.

– Как только отделается от текущих дел, епископ, – ответил Флеминг. – Не хотите, чтобы тут знали о вас?

– Излишне! Не годится, чтобы о том говорили, – живо воскликнул епископ.

Был это тот главный помощник нового короля в Польше, Денбский, епископ Куявский, о котором некоторое время назад вспоминал Флеминг.

– Я прибыл сюда только за тем, – продолжал тот поспешно, – чтобы договориться о коронации, удостовериться, что мы согласны, касательно людей и оборота нашего дела. Я не мог никому довериться и никого послать, хотел сам говорить с королём, выбежал поэтому из Кракова так, что не знают, где я... моё время ограничено, я должен возвращаться.

– Мы вас не задержим, – ответил полковник, – а король очень рад вам... Что слышно о Конти?

Денбский надул губы и поднял брови.

– Сомневаюсь, что он прибудет, а точно, что опоздает. Тем временем будем стараться заполучить его соратников. Курфюрст через австрийский двор и шурина должен обеспечить себе, что Собеские ему мешать не будут.

– Конти нам гораздо страшнее, – добавил полковник.

– Я не знаю, – вставил Денбский, – если бы Собеские были в согласии, были бы более опасными соперниками. Наличных денег имеют предостаточно и много старых приятелей.

– Но враждебных к нему ещё больше, – сказал Флеминг, – если Пребендовские меня не обманывают.

– Прежде всего, достаточно заполучить упёртого Великопольского, – начал Денбский, – потому что он запрёт замок перед нашим носом, не даст подойти к сокровищнице, в которой сложены коронационные регалии, а силу тут использовать не подобает.

– А ключи от сокровищницы? – спросил Флеминг.

За весь ответ епископ улыбнулся. Начали снова очень оживлённо шептаться. Разговор, должно быть, задел что-то щекотливое, потому что Флеминг горячо произнёс:

– Нужно хоть видимость законности во всём сохранить. К сожалению, во многих вещах мы будем вынуждены ограничиться ею. Шляхта недоверчивая, закричит, что мы угрожаем их свободам, а курфюрст очень усиленно желает избежать даже подозрения. В замок, в сокровищницу мы должны получить доступ, – говорил он далее, – хотя бы нам пришлось довольствоваться другой короной. Мне говорят, что, согласно старым формам и обычаям, для коронационной церемонии нужно захоронение умершего короля. Собеские нам останков не дадут! Что же мы сделаем?

– А! Мы об этом думали и советовались! – ответил Денбский. – Пустой гроб будет символизировать покойника... гораздо труднее будет нам открыть замок, а коронация не может проходить в другом месте, только в Вавеле.

Флеминг молча показал, как бы считает деньги, а епископ сделал многозначительную мину.

– Мы уже столько их потратили, что скупиться не можем, – сказал полковник.

На протяжении этого разговора немец давал знаки нетерпения, хотел живо исчерпать всё, что было для совещания с Денбским, но епископ, хоть одинаково живого темперамента, привык больше рассуждать о каждом предмете.

Флеминг как раз говорил о деньгах, когда медленным шагом из глубины покоев, занятых епископом, вышел старец, согнувшийся, с весьма значительными чертами, с полным мысли лицом, в чёрной одежде, перепоясанный таким же поясом, с плащиком на плечах.

Был это некогда любимец Яна III, знаменитый учёный о. Вота, из Общества иезуитов. В своём ордене он имел необычное значение и, несмотря на очень уже преклонный возраст, ордену и Риму в деле католицизма и возведения на трон саксонского курфюрста им пришлось пользоваться. Флеминг издали с ним поздоровался, вежливей, чем можно было от него ожидать, а епископ, несмотря на то, что тот был простым монахом, поспешно уступил ему место, показывая великое уважение. О. Вота казался уже гостем на земле. Некогда энергичный и неутомимый в работе, сегодня холодный, выжитый, застывший, исполнял уже только долг, горячо занимаясь повседневными делами.

– Вы пришли очень вовремя, – начал Флеминг, приближаясь. – Речь была о деньгах, саксонскую казну мы уже значительно исчерпали; прежде чем акциза даст нам что-то снова, орден нам в Польше у себя кредит обеспечил. Мы безмерно в нём нуждаемся.

Вота слушал холодно.

– Что мы обещали и что отец генерал в Риме обеспечил барону фон Роз, мы это свято исполним. Но, наидостойнейший господин, – прибавил он, – эти деньги не наши, они принадлежат ордену, а скорее всему христианству, костёлу, нашей миссии.

Поэтому мы не можем дать их без некоторых гарантий и надёжности.

– Мы пожертвовали драгоценности, – отпарировал Флеминг, – это дело мы обсудили.

– Наши провинциалы будут иметь соответствующие приказы, заверьте в этом короля.

И, помолчав минуту, отец Вота говорил тише, не глядя на Флеминга:

– Элекция и коронация курфюрста лежит у нас всех на сердце. Мне нет нужды повторять, что в Польше мы всякими силами будем поддерживать короля. В свою очередь мы также ожидаем от вас, что сдержите обещания. До сих пор католическое богослужение в Лейпциге и Дрездене проходит тайно при закрытых дверях, мы должны требовать открыть часовни.

– Только не колоколов, потому что между тем вам дать их не можем, – вставил полковник. – Король особенно велел, чтобы католики получили всевозможные свободы, мы также должны глядеть на наших евангелистов, в которых кипят страсти. У нас фанатики... нужно читать, что пишут, слушать, что с кафедры разглашают.

– Первая минута во всём горячкой отличается, – шепнул отец Вота.

Флеминг искал уже только причину для окончания разговора и хотел выйти. Пошептались о чём-то с епископом и, попрощавшись с обеими духовными, сопровождаемый до двери Денбским, он исчез.

Отец Вота остался с ним наедине.

– Что же вы скажете об этом всём? – воскликнул епископ, обращаясь к нему. – Я посвятил себя делам церкви и принял участие в опасной игре. На этом действительно приобретёт церковь... свет... Апостольская столица.

Монах задумался.

– Не имею, – сказал он, – пророческого духа. Сказать правду, курфюрст не вызывает во мне никакого доверия. В обращение не верю. Жена точно вероисповедание не изменит. Сына нам обещали воспитать как католика, но мать-протестантка будет его первой учительницей веры, а потом... потом Бог делу своему поможет. В Саксонии, где ересь укоренилась сильнее всего, с трудом её придётся искоренять.

– Пример монарха, – шепнул немного смешавшийся Денбский. – Молодой, горячей крови, этот господин поначалу рвения не покажет, но со временем... влияние, всё окружение, мы все...

Отец Вота усмехнулся.

– Дай Боже, – сказал он, – потому что жертвы, чтобы его заполучит, велики.

– Сына воспитаем мы, не мать, – сказал Денбский, – Рим о нём помнит. Мы должны его вырвать, вывезем его за границу. Ваш орден обеспечит учителей.

Монах слушал довольно равнодушно. Было видно, что не много верил во все эти обещания. Для Денбского речь шла о том, чтобы отцу Воте короля иначе обрисовать... начинал говорить всё горячей.

– Первый шаг сделан, он отказался от ереси... это главное, он в наших руках, теперь мы должны действовать.

– Он должен изменить жизнь, – шепнул Вота. – Плохой пример... а в Польше такой грех сердец ему не приобретёт.

– Отец мой, – начал Денбский, – взгляните, что творится на дворе Людовика, на глазах католического духовенства, с архихристианским королём. Этот Соломонов обычай оттуда, с Сены, пришёл на Эльбу. Для нас это наука, что во многих случаях нужно быть потакающим, дабы избежать худшего зла.

– Дай Боже, дай Боже, – шепнул Вота, – я только боюсь, как бы, вместо того чтобы брать пример с вас, ваши паны не захотели подражать ему.

Денбский покачал головой.

– Наши женщины стоят на страже домашних очагов, не бойтесь, отец...

Вота потихоньку мягко повторил своё: «Дай Боже, дай Боже!»

Разговор на мгновение прекратился, епископ, как если бы что-то вспомнил, приблизился к Воту и начал шептать:

– *Ni fallor*<sup>2</sup>, отец мой, это господин, какой вам был нужен. Принимая нас в Тарновских горах, он раздавил в руке серебряный кубок... У него есть сила, и не только в руке, я думаю, она и в характере найдётся. Укротит распушенность, подавит шляхетские выступления, не

---

<sup>2</sup> *Ni fallor* (лат.) – Я думаю.

допустит мятежей, пресечёт излишнюю свободу, это видно в его глазах. Наконец, он привык к *absolutum dominium*<sup>3</sup>, потому что у себя не знает никакого ограничения власти.

Вот ещё раз шепнул:

– Дай Боже, дай Боже! *Utinam!*

---

<sup>3</sup> *Absolutum dominium* (лат.) – Абсолютная монархия.

### III

Как великими переворотами в природе пользуются маленькие существа и появляются, ведомые инстинктом, на руинах, на посевах, одинаково на запах цветущих полей, как на запах пепелища, то же самое в мире людей; историческими событиями великой важности пользуются мелкие и маленькие, невидимые эфемериды, находящиеся везде, где что-либо возносится или падает.

В то время, когда Саксония, остолбенелая и удивлённая, беспокоилась за выбор своего курфюрста, видя угрозу религии, когда проницательные умы Польши в Августе боялись приятеля, ученика и союзника Габсбургов, пытающихся урезать свободы людям, подчинённых их скипетру, везде, где установили контроль, в Дрездене на Замковой улице Захарий Витке и придворный Пребендовской, Лукаш Пшебор, думая только о себе, рассчитывали, как сумеют выгодно воспользоваться этой элекцией и новым господином. Амбиции Витке толкали его на скользкую дорогу, пробуждающую в матери не без причины сильную тревогу. Лукаш, с которым мы познакомились в магазине при кубке, в посеревшей одежде клирика, также не меньше размышлял над своим будущим, строя его на том, что случайно встал одной ногой недалеко от двора короля.

Сирота, бедняк, каким образом, вместо того чтобы попросту записаться где-нибудь в реестр челяди и двор какого-нибудь Любомирского или Яблоновского, без всяких средств, собственными силами он решился добиваться карьеры, это мог только объяснить его характер и темперамент... Обстоятельства также складывались, что ничего другого до сих пор ему не попало. Бедный, предоставленный самому себе, он спасался инстинктом, каким... случайно нашёл азбуку, заинтересовался предметом, почти один научился писать и читать; силой потом влез в костельную школу, с сухим хлебом питаюсь жадно латынью... Чистил ботинки и подметал избу ксендза, который направил его учиться на клирика и выхлопотал доступ в семинарию.

Среди этого послушничества постепенно в голове его, по которой мысли маячили чрезвычайно хаотично, становилось ясней.

Было какое-то Провидение над сиротой, невидимая рука, которая его толкала и укрепляла.

Он угадывал, догадывался, имел инстинкт провидца, хотя никому не доверял и ни советовался ни с кем, в этом пережёвывании мысли приобрёл хитрость и дар угадывания. Невзрачный, в посеревшей епанче, клеха шёл на борьбу с жизнью с тем убеждением, что справится. А желал всего без меры. Но разве он не читал об этих архиепископах, что, как бедняки, ходили по Кракову с мешками и горшком? Шаг за шагом так продвигаясь, он стяпал всё из самого себя. Замкнутый, молчаливый, он продвигался вперёд осторожно, а каждое новое завоевание придавало ему смелости для новых мечтаний и надежд.

Получив в семинарии столько знаний, сколько их требовало тогдашнее течение жизни от тех, что особенной профессии не выбирали, Пшебор всё больше начинал колебаться, не время ли сбросить это облачение, которое его тяготило, или сохранить его и посвятить себя так называемой службе Божьей... Он действительно мог добиться высших ступеней, но все клятвы и отказы, какие были необходимы послушнику, не были ему по вкусу, потому что любил жизнь со всей её насыщенностью.

Поэтому до поры до времени он остался клириком, чтобы иметь обеспеченную жизнь, но смотрел только, нельзя ли ему для чего-нибудь или для кого-нибудь избавиться от сутаны. Тем временем выпал ему случай при дворе каштеляновой, которая, направляясь в Дрезден с польской службой, нуждалась для неё в надзоре и переводчике, ей был нужен секретарь и копиист, умеющим хранить тайны; Лукаш ей показался довольно ограниченным... так что не колебалась давать ему переписывать важные документы. Пшебор этим воспользовался, с жад-

ным любопытством ознакомился со всем, подслушивал, подглядывал и посвящал себя в политические тайны. Никто бы лучше не мог и не умел воспользоваться положением. Малейшая вещь не уходила от его внимания. Ловил слова, комбинировал, из людей, из лиц, из малейшего признака делал выводы. Чем дольше это продолжалось, тем больше был уверен, что пребывание на дворе пани каштеляновой будет для него основанием новой жизни.

Уже молниеносно пробежала у него мысль, что мог бы то свои знания продать Конти... Совесть ему этого не запрещала, не хватало только ловкости.

Разговоры с Витке, хотя тот не высказывался открыто, показывали Пшебору, что подошла минута, когда, выступая посредником между поляками и саксонцами, можно было с обеих сторон получить пользу. Почему бы ему не попробовать дотянуться до двора, хотя бы до короля. В его убеждении Витке хотел только заработать как купец, он же намеревался торговать как человек пера... и политик.

У обоих, у купца и клирика, горело в голове. Витке, получив учителя, который так был ему нужен, следующего дня взялся за польский язык не только с пылом, но с безумной яростью. Память имел отличную, сербский язык замечательно ему служил, дело шло только о схватывании языка и форм той речи, главный этимологический материал которой весь имел в голове. Также при первых лекциях оказалось, что Захарий имел дар к языкам, а лёгкость в их изучении есть настоящим даром и не все его имеют в равной степени. Сам не лишённый способностей, Пшебор каждую минуту удивлялся непонятной для него быстроте ума своего ученика. Витке после первых попыток так был доволен, что, приказав подать вина, накормил и напоил профессора. Ничто его сильнее подкупить не могло, потому что, хоть у Пребендовской ему неплохо жилось, был жаден и алчен, как каждый бедняк, что долго голодал. Чего не мог съесть, прятал в карман. Витке приобрёл его этой кашкой, так что тот, захмелев, показывал ему дружеское расположение и, хоть кусал себя за язык, немного выдал себя... если не фактами, то темпераментом и характером. Купец насквозь его разглядел, присматриваясь, расспрашивая, нельзя ли будет позже пользоваться им.

– При первой возможности он предаст меня, как пить дать, – говорил он в душе, – ежели ему это посулит какую-либо выгоду, но в том и суть, чтобы его не посвящать в тайны, только приспособить к служению.

Очень может быть, что и Пшебор думал подобное о купце. Лекции по практическому применению языка проходили в беседе. Касались разных предметов. Витке начал осваиваться не только с этой речью, но с бытом и обычаем Польши, которые показались ему совсем другими, как небо и земля, отличными от саксонских.

Купец, хоть имел в торговле в ту пору очень важные дела, ни одним днём не пренебрегал. Часть их сдавал матери, менее значительные доверял помощникам, сам со всей горячностью опьянённого человека посвятил себя тому, что было более срочным.

Ещё в XVI веке были во Вроцлаве издаваемые для немцев разговорники по изучению польского языка, этими воспользовался Пшебор, чтобы облегчить обучение.

Клирик смеялся и удивлялся, потому что передохнуть не давали друг другу.

– Не понимаю, – буркнул он, – зачем так мучитесь. В Кракове найдёте множество немцев, веками там осевших, да и в Варшаве их немало.

– Почему я мучусь? – отпарировал Витке. – Потому что никем прислуживаться не люблю. В моей природе есть то, что сам всё хочу сделать, ни на кого не полагаюсь.

Через несколько дней учитель и ученик пришли к некоторой доверительности. Пшебору равно как и Захарию, казалось, что знал товарища насквозь, хотя купец и немец столько друг другу показывали, сколько хотели, а вовсе не доверяли друг другу. Из них двоих тот гораздо больше умел использовать знакомство.

Удивляла его эта Польша, которую первый раз узнал. Привилегии, свободы шляхты, которых саксонское дворянство вовсе не знало, немцу показались почти чудовищными. Не

говорил того, но думал, что Август Сильный с помощью войск, которые должен был ввести в Польшу, не захочет поддаться неволе, какую на него накладывали старые уставы Речи Посполитой. В его голове не умещалось, чтобы король со всей своей властью мог быть бессильным против сеймов и недовольств. Когда Пшебор рассказывал ему о дерзости и гордости шляхты, о своеволии могущественных, которые отравили жизнь Яну III, он не мог понять этого короля, вынужденного быть слугой и безвластной куклой.

– Это не может удержаться, – думал он в духе, угадывая своего пана, – Август договорится с царём московским, с курфюрстом Бранденбургским и эти нелепые права и привилегии должны будут пойти к чёрту. Ежели этого не сделает, действительно не стоит короны.

– У нас, – говорил он Пшебору, когда тот ему о шляхетстве рассказывал, – дворяне тоже свободны от всевозможных выплат, кроме той, что обеспечивает коней, обязывает идти на защиту страны, но прав не диктует... Если бы на созванном собрании саксонский барон смел что-нибудь буркнуть курфюрсту, не выбрался бы из Кёнигштейна.

– У нас есть против этого наши *neminem captivabimus nisi jure victum*<sup>4</sup>, – сказал Лукаш, – не дали бы себя! Хо! Хо!

Итак, в каменице «Под рыбами» всё шло отлично, но ещё не так быстро, как желал Витке. Поэтому он обещал клирику, что, помимо обещанной награды, получит красивый подарок, лишь бы приготовил Витке к коронации.

– Ты этого без труда добьёшься, – сказал, смеясь, Лукаш, – у нас достаточно разных диалектов, в Силезии говорят иначе, иначе в Мазурии, иначе кашубы, ты скажешь, что из другой провинции, и достаточно.

– Верно, – отпарировал купец, – но я хочу для себя хорошо язык выучить.

– Гораздо трудней, – сказал Пшебор, – понять нашу жизнь и обычай, чем язык. Этому быстро не научишься.

– Я не отчаиваюсь из-за этого, – шепнул Витке, – всему можно научиться. Имеете доказательства, я не очень тупой.

Ежедневно вечером Марта ожидала сына, любопытствуя узнать, как у него шло с учёбой.

Одновременно радовалась и боялась. Знала, что на этой дороге, на которую он ступил, уже его удержать не сможет. Исповедовался перед ней каждый день и, хотя всей правды не говорил, она чувствовала, что надеждами он достигал далеко. Но, видя, что она встревожена, успокаивал.

– Не думайте, матушка, что у меня есть амбиции добиваться должностей, положений, титулов. Это не наша вещь. Хочу стать нужным и, как Лехман и Мейер, заработать денег. С набитой мошной дойду потом куда пожелаю. Из магазина больших вещей вытянуть нельзя, а кто имеет разум и деньги, должен их использовать.

Мать вздохнула, обняла сына и повторяла ему постоянно одно:

– Будь осторожен, дитя моё, будь осторожен. На дворе, как на мельнице, кого колесо зацепит, тому кости переломает.

Захарек смеялся, не имел ни малейшего опасения.

Клирик, рассмотревшись дольше, и увидев притом, что Пребендовская выше вовсе его продвигать не думает, решил для себя, что охотно принял бы для начала какое-нибудь место. Начал с того, что на свою пани жаловался вполслова, заявлял, что готов бы её бросить, но купец молча принял это признание, а насчёт помощи для получения какой-либо должности отговорился тем, что не имеет связей.

– У нас найти место нелегко, – сказал он, – а вы у себя в Польше легче что-нибудь найдёте.

---

<sup>4</sup> *Neminem captivabimus nisi jure victum* (лат.) – Мы не посадим в тюрьму того, кто не был бы приговорён судом к заключению.

– Легче? – рассмеялся клирик. – Видно, что вы не знаете латинской пословицы: *nemo propheta in patria*<sup>5</sup>.

– Не всегда она оправдывается, – сказал купец, – надоела вам пани Пребендовская, хотели бы её покинуть, хотя, потерпев, легко могли бы добиться чего-нибудь. Допустим, что я бы вас послушал и поискал вам занятие, иного не нашёл бы, пожалуй, только в торговле, а вы сами мне говорили, что шляхтичу ни локтя, ни весов коснуться не годится.

Клирик вздохнул и замолчал.

Действительно, со всей своей хитростью и находчивостью он сам не знал что делать, ему не хватало терпения, неосторожно бросался. Немец имел над ним великое превосходство, не считая того, что клирик, когда выпил, хоть был осмотрителен, то и это не раз излишне высказывал.

Знал от него Захарий, что из переписываемых для каштеляновой бумаг, между Дрезденом и Краковом, выявлялись разнообразные неосуществлённые ещё переговоры, которые должны были предшествовать коронации.

Уже достаточно освоившись с языком, не говоря ничего Пшебору, Витке состряпал потихоньку план поведения. Хотел как можно скорей попасть в Краков, заранее там осмотреться и заручиться поддержкой кого-нибудь под боком короля. Для предлога он имел торговые интересы. Со дня на день, однако, откладывая своё путешествие, которое преждевременно не доверил учителю, он огляделся и подумал, не мог ли на дворе получить какие-нибудь поручения в Краков, чтобы с них начать новую профессию, которой мать так противилась.

Состав двора курфюрста и отношения его любимцев были хорошо известны Витке. Он знал, что для маленьких на вид и важных работ, которые должны были быть скрыты, начиная с уговоров французских и итальянских актрис для курфюрста вплоть до заключения договора на кредит с торговцами драгоценностей, лучше всех ему служил и пользовался наибольшим доверием итальянец из Вероны, обычно называемый Мазотином, уже ставший дворянином, Анджело Константины. Был это попросту камердинер Августа, но ему хитрый Пфлуг, великий подкоморий и даже Фюрстенберг кланялись и улыбались. Была это невидимая, почти никогда не показывающаяся сила. Мазотина легко было узнать из тысячи как итальянца, не только по чёрным, курчавым, буйным волосам, глазам, как угли, сросшимся и пышным бровям, но по беспокойным движениям, постоянным жестикуляциям, по чрезвычайной гибкости и ловкости, с какой везде втискивался. Бороться с ним на дворе никто не смел, даже товарищ его, также находящийся в великих милостях, Хоффман, с которым самым лучшим образом сотрудничали. Хоффман имел такое же доверие курфюрста и его использовали для тех же услуг, что и Мазотин, но он не имел его смелости и хитрости. Верончика все боялись и каждый желал его заполучить. Вовлечённый во все любовные капризы ненасытного курфюрста, который постоянно хотел чего-то нового, Мазотин умел *per fas nefas*<sup>6</sup> всегда удовлетворить его фантазии. Неприятные последствия безумных иногда выходок брал потом на себя и выкручивался из них без вреда.

Константины, хотя такой крепкой, такой славной головы, как у подкомория Пфлуга, который десять бутылок вина мог выпить, не переставая быть трезвым, не имел, хорошее вино любил, особенно испанское и итальянское. Витке уже раньше, когда ещё никаких соображений по завоеванию себе будущего не имел, для приобретения протекции Мазотина принёс и подарил ему *Lacrima Christi* и несколько изысканных сортов южных вин. Отсюда завязалось знакомство между ними, но Константины был слишком занятым, замешанным во все придворные интриги, чтобы у него было время больше общаться с купцом и с ним часто встречаться. Возобновить теперь эти запущенные связи казалось Витке необходимостью.

---

<sup>5</sup> *Nemo propheta in patria* (лат.) – Нет пророка в своём отечестве.

<sup>6</sup> *per fas nefas* (лат.) – Правдами и неправдами.

С элекции курфюрста на дворе царили вдвойне волнение и переполох. Нехватка денег, срочная их необходимость, поиск средств для их сбора, приобретение драгоценностей, большой численности которых требовали подарки для польских дам и господ, вынуждали не только занимать у Лехмана и Мейера, так называемых хофьюден, банкиров двора, но у многих других. Мазотин тоже был очень деятелен и теперь трудно было до него дотянуться, утром и вечером должен был стоять в готовности к служению с рапортами в кабинете, днём бегал, шпионил и старался чем-то послужить.

Мазотин был самым подвижным шпионом и под своими приказами имел целую банду людей самых разных профессий, доносящих ему обо всём и разносящих то, что он хотел разгласить.

Эта маленькая, незаметная пружина двигала огромными силами. Ставшему дворянином итальянцу уже в то время пророчили, что из камердинера он перейдёт в тайную канцелярию и продвинется на более высокие ступени, в чём он сам не сомневался.

Однажды вечером Витке с фанариком один шёл в свои погреба. Были у него там в отгороженном уголке старые дорожные вина, ключи от которых никому, кроме матери, не доверял. Он вытащил оттуда полдюжины *fiasconow*, украшенных пылью и паутиной, уложил их осторожно в корзину и укрыл сукном, потом велел нести за собой к замку.

Мазотин недалеко от спальни курфюрста занимал там комнатку, в которой редко когда его можно было застать. Говорили, усмехаясь, что чаще всего тут даже не ночевал, а где обращался, было тайной.

В этот раз, почти чудом, король находился на охоте, а Константины остался в Дрездене, и Витке, который у слуги сам взял в руки корзину, постучав, был впущен. Мазотин как раз был занят разглядыванием каких-то коробочек, полных разнообразных драгоценностей, но, узнав стоящего на пороге купца, который всегда был ему симпатичен, заметив, может, корзину в его руке, улыбнулся и по-итальянски его пальцами к губам приветствовал. К счастью для Захария, они были одни.

Витке очень низко поклонился и сделал весёлое лицо.

– Вижу, – сказал он, сразу приступая к делу, – что вы, пан подкоморий (он дал ему этот титул будто бы ошибочно, но не без умысла) должно быть, сейчас очень утомлены работой, я принёс сюда кое-что, дабы подкрепить ваши силы.

Говоря это, он поставил в стороне закрытую корзину, показав только горлышко бутылки.

– Хе! Хе! Хе! – рассмеялся итальянец. – Ты помнил обо мне, Витке. Сердечно благодарю, но вино в это время скорее мне силы отнимет, чем их добавит.

– О! О! – отпарировал купец. – Такое вино, как то, которое принёс, знает, куда идти, и никогда в голову не ударит, но в желудок, чтобы добавило ему сил.

Уставший Мазотин был как-то исключительно склонен к разговору, тем охотней, что Витке выучил итальянский и совсем неплохо мог с ним разговаривать.

– Ну, дорогой Захарий, – сказал камердинер, живо двигаясь, – что там слышно? Что делаешь?

– Я? – сказал быстро Витке. – Как обычно в магазине сижу, и не много имею дел, но готов бы более деятельным быть, если только найдётся занятие.

Константины немного подумал.

– Какое? – спросил он.

– Я очень хочу служить и пригодиться на что-нибудь; сейчас, когда его величество в стольких и таких разнообразных услугах нуждается, – отозвался Витке, – что я готов был бы на любые поручения, если бы мне их только доверили.

– О! О! – прервал Мазотин, приступая к нему. – Ты серьёзно это говоришь? Нам действительно нужны доверенные люди, особенно в Польше.

Витке поднял голову.

– А как это хорошо складывается, – отвечал он с улыбкой, – потому что случайно я даже неплохо польскому научился.

– Каким образом? – воскликнул явно заинтересованный Мазотин.

– Нечего было делать, – сказал купец. – Выдался человек, а я любопытен до каждого языка.

Константини задумался. Положил руку на плечо купца.

– Хм! – сказал он. – Ты действительно и нам тоже можешь пригодиться. Нам нужны верные люди, которым иногда и деньги, и драгоценности можно доверить. Ты – человек богатый и честный, ума и ловкости тебе не занимать.

Витке склонился, благодаря.

– Прошу мной распоряжаться, – отозвался он быстро, – в Краков, а хотя бы и в Варшаву охотно поеду. Я очень хочу расширить мою торговлю. Каждому хочется подработать.

– Естественно, – ответил Константини, – ты молод, есть силы, почему бы не воспользоваться обстоятельствами. Знаешь польский, а это сейчас весьма много значит, – добавил он, – только должен поразмыслить, хочешь ли там служить, или скрывать своё знание, потому что и то и другое в данных обстоятельствах может пригодиться.

Витке положил руку на грудь.

– Верьте мне, ваше сиятельство, – сказал он, – что могу служить со всем рвением, какое сейчас нужно. Осторожности научила меня торговля и смолоду общение с людьми.

– Я тебя знаю, не нужно мне говорить о том, – вставил поспешно Мазотин, подавая ему руку.

Закрутился потом, проходя по покою, точно ему трудно было выдержать на одном месте, и живо повернулся к Витке.

– Значит, я могу на вас рассчитывать, – начал он живо, – если бы мне кто-нибудь в Польше понадобился и дело бы осталось между нами в самой большой тайне?

– А это разумеется, – воскликнул Витке.

– Наш курфюрст, если ты ему послужишь, сумеет это отблагодарить, – добавил Константини.

– Я и сам себе намеревался торговлю расширить в Польше и открыть магазин, – сказал Витке. – Поэтому никто на меня там обращать внимания не будет, а купцу везде доступ лёгкий и никто его подозревать не может.

Когда Мазотин слушал, у него прояснилось лицо...

– Только помни, – шепнул он, – чтобы к тому, что может между нами сложиться, никто не был допущен... Пока наш пан не овладеет новой короной, нам нужно быть очень осмотрительными...

Обрадованный Витке все условия принимал охотно. Он знал, как нужно было поступать с итальянцем, чтобы его себе вполне приобрести; закончил поэтому признанием:

– Я не скрываю того, что ищу заработка и хотел бы воспользоваться обстоятельствами; поможете мне, ваше сиятельство, само собой, что обязан вам буду благодарностью. Выгоды от этого соглашения будут для обоих, а в моём и вашем интересе важно, чтобы оно осталось тайной.

Мазотин в свою очередь принял это заверение с признаками великого удовольствия. Разговор потихоньку начался уже доверительный, о положении дела короля и его связях в Польше, о Кракове, где сначала должно было начаться царствование, о Варшаве, в которую купцу уже теперь попасть было легко, хоть её занимали сторонники примаса и Конти.

– Я готов ехать в Варшаву, – сказал Витке, – но, не зная Польши, я предпочёл бы начать с Кракова, чтобы с ней познакомиться... В Варшаве тем временем курфюрсту некие Пребендовские послужат.

При упоминании этого имени губы Мазотина немного скривились.

– Да, – сказал он, – сам пан каштелян теперь уже полностью наш, но я не забываю о том, что он уже служил другим, но и его, и жены его нам не всегда хватает, и не во всём послужить могут. На них я не буду глядеть. Каштелян же сегодня уже повсеместно известен как преданный курфюрсту, от одного этого он не везде может быть использован.

С полчаса ещё новые союзники шептались, потихоньку советуясь. И Витке попрощался с Мазотином, договорившись с ним, что, когда он захочет его увидеть, пусть чего-нибудь требует в магазине. Тогда Витке тут же прибежит к нему.

Он не ожидал такого счастливого оборота, а прежде всего такого быстрого достижения цели. Захарий в самом весёлом расположении вернулся домой...

Мать, которая как раз находилась внизу, когда он вошёл, по лицу его прочитала некую удачу, и порадовалась бы ему, если бы не то, что теперь всё для неё переходило в страх. Знала, догадывалась, к чему стремился сын.

После полудня этого дня подошёл кислый Пшебор... Ему как-то не везло. Витке, проводя его в комнатку, в которой они обычно просиживали, начал с объявления, что, подумав, решил как можно скорей предпринять поездку в Краков.

Пану Лукашу вовсе это на руку не было.

– Ну, – прервал он хмуро, – а со мной тогда что станет?

– Простая вещь, – отпарировал Витке, – я сдержу всё, что обещал... это не подвергнет вас никаким тратам.

– И расстанемся так? – буркнул, качая головой, Пшебор. – Не используете меня на что-нибудь?

Витке пожал плечами.

– Для чего бы я мог вас использовать? – отпарировал он. – Вы связаны с Пребендовскими, а я, кроме торговых, иных интересов не имею. Для тех вы мне полезным быть не можете. Кто знает, – добавил после раздумья купец, – позже, может, если бы встретились.

Пан Лукаш, который от беспокойства уже неожиданно приличный бокал вина выпил и, опустевший, так поставил, что купец ему тут же должен был наполнить другой, собирался горько жаловаться.

– С Пребендовской, – начал он, – я ничего не добьюсь. Прислуживается мной как тряпкой, которую потом бросают в угол. Мне видится, что меня принимают за совсем глупого человека, который ни до чего лучшего не пригодился, только для переписывания. Не доверяют мне никогда ничего, а обходятся презрительно... Я на самом деле приобретаю на том, потому что верит мне и ничего не скрывает, но какая с этого выгода для меня?

– Вам не хватает терпения и выдержки, – прервал купец.

– Потому что чувствую в себе силу показать себя способным на чуть большие дела, чем для этой жалкой роли писаря, – вздохнул Пшебор.

– Я от всей души рад бы вам помочь, – прибавил Витке. – Но как? Не вижу способа.

Пшебор ударил кулаком по столу.

– Будь что будет, – пробормотал он, – выбиться наверх нужно.

– И я вам этого желаю как можно сильней, – сказал Захарий, – но в то же время хладнокровия и выдержки, потому что без этого ничего... Теперь, – добавил он, доставая из кармана хорошо нагруженный кошелек, – я приношу вам самую искреннюю благодарность за учёбу, которой постараюсь воспользоваться. Вот это мой долг, согласно уговору, а это приятельский подарок за оказанную мне доброту.

Глаза Пшебора заулыбались от талеров, разложенных на столе, которых не ожидал получить так много... и никогда в жизни их столько вместе не видел. Начал пожимать купцу руку и в плечо целовать...

– Как же мне не жаловаться на этих скупердяев, – воскликнул он, – разве они мне когда-нибудь за посвящение им всего моего времени хоть половину этого дали! Едва к столу меня

допускают, когда нет гостей, и то в сером конце. Гроша у них не допроситься, а прислуживаются почти как стражем.

В его голове немного закружилось, начал спешно прятать деньги, не привыкший к ним; ему их надолго должно было хватить. Они сердечно попросились, и вдвойне опьянённый Лукаш вернулся во дворец Флеминга, часть которого занимала Пребендовская, с почти уже твёрдым решением порвать с работодателями, дабы искать себе что-нибудь более выгодное.

Талеры, которые он старательно спрятал в сундук, отразились в его обхождении и выражении лица. Пани Пребендовская, которая вскоре потом для диктовки письма велела его позвать, удивилась, увидев, что он входит с какой-то гордостью, которой никогда в нём не видела.

Она не знала, чему её приписать; не спрашивая о причине, она села за корреспонденцию. Лукаш занял место и приготовился к работе.

Прежде чем она началась, пани каштелянова случайно с гордостью и панской флегмой сделала замечание, чтобы старался писать отчётливо и читаемо.

– Гм! – ответил Пшебор. – Разве я ещё плохо пишу?

Каштелянова строго поглядела.

– Иногда довольно нестарательно, – сказала она, – я знаю, что это вас не развлекает, но обязанности нужно выполнять добросовестно.

– А я выполняю их недобросовестно?

Пан Лукаш забормотал, бросая перо, и ужасно зарумянился. Пребендовская, которая знала его терпеливым, посмотрела большими глазами.

– Что с вами случилось? – спросила она.

– Ничего, – сказал, вставая, пан Лукаш, – но, поскольку я плохо пишу и свои обязанности выполняю недобросовестно, благодарю за место. Прошу дать мне расчёт, и конец.

Пребендовская ушам своим верить не хотела, не зная, смеяться, или гневаться. В конце концов брови её стянулись.

– Вы с ума сошли! – сказала она гордо. – Вы думаете, что я разрешу вам меня покинуть, когда мне нечем вас заменить? Не заблуждайтесь, ваша милость. Задерживать вас не буду, когда вернёмся домой, но тут вас не отпущу. Мы в Саксонии, вы мой смотритель, достаточно слова моему брату, чтобы взяли под стражу и отвели на Новый Рынок. Поэтому имейте разум и не бунтуйте, потому что это может плохо кончиться.

Пшебору сделалось холодно, жарко, он сел, не говоря ни слова уже, и, не отзываясь, приготовился писать под диктовку пани, которая, отнюдь не взволнованная, тут же приступила к чтению письма.

Привыкшая к пассивному послушанию, каштелянова эту выходку писаря приписала действию алкоголя. Дело ей казалось улаженным. Окончив стилизовать письмо, она велела подать ей, прочитала и, ничего не говоря, положила на стол.

Пшебор какое-то время стоял и ждал, а, видя, что пани Пребендовская не думает диктовать дальше, неловко поклонился и вышел.

Всё казалось оконченным, но на завтрашнее утро каштелянова узнала, что ночью Пшебор выехал из дворца Флеминга и исчез без вести.

Сразу же выдали приказы искать беглеца, искали его по всему городу, но тщетно.

Суровая пани жалела, может, о своей несвоевременной поспешности, но не чувствовала себя виноватой.

В её глазах было непростительной дерзостью, что такой бедняк мог ей показать свою шляхетскую гордость и требовать хотя бы лучших условий.

Досталось за него всей Польше и всей шляхте!

## IV

Одного осеннего вечера, когда уже магазин был закрыт, а беспокойная пани Марта ждала сына, весело напевая, Захарий вошёл в комнату, в которой всегда ужинали, и, целуя матери руку, увидев слёзы на её глазах, сказал с упрёком и нежностью:

– Дорогая матушка, я вижу, ты не уверена в своём ребёнке? Или как Захарек не потерял бы того, что его отец заработал, а ты не впала в бедность?

Госпожа Марта резко прервала его:

– А! Ты неблагодарный! Разве для меня речь идёт о богатстве, в котором я меньше всего нуждаюсь? Речь о тебе, единственное моё сокровище! Я в любой день, если бы мы всё потеряли, с радостью бы вернулась в мой Будзишин, лишь бы ты поехал со мной. Разве не понимаешь того, что мне ничего не надо, речь только о твоей безопасности?

– А, милая матушка, – ещё раз целуя ей руки, отпарировал Витке, – подумай, прошу, что мне может угрожать?

– Не знаю, – сказала мать, вздыхая, – но боюсь. Ты едешь в Краков?

– Еду, да, – воскликнул Витке, – следует заранее осмотреться. Курфюрст тоже должен туда вскоре прибыть.

Мать быстро посмотрела ему в глаза.

– Ты не говоришь мне всего откровенно, – прибавила она, – а я вынуждена отгадывать, больше, может, тем тревожась, чем следовало бы. Мазотин пару раз прибежал к тебе, а кто знает, как он занят и какую роль играет при курфюрсте, тот должно быть догадывается, что ты едешь в Краков не вино продавать.

Захарий усмехнулся.

– А! Матушка, – сказал он, – наши господа: Флеминг, Пфлуг и другие, которых Август забирает с собой, нуждаются в немцах. Не будут знать в первую минуту, где и как ступить... одно не мешает другому, я и своё дело сделаю, и курфюрсту могу послужить.

Грустно покачивая головой, мать начала говорить.

– Видишь, Захарек, – произнесла она, – как раз этого я и боюсь, той связи с Мазотинами, Гоффманом и двором, когда ты ни в ком не нуждаешься. Раз им послужив, попадёшь в неволю. Не выпустят тебя. В любом случае ты можешь запустить свою торговлю ради этой службы, но я всего боюсь, что имеет отношение ко двору и господину. Дружба со львами и тиграми небезопасна.

Захарек смеялся.

– Успокойся же, матушка, успокойся, – сказал он, становясь серьёзным, – я ничем не связан и никогда не буду, не навязываюсь никому, но есть вещи неизбежные. Отказать своему господину не годится и так же небезопасно, как ему рекомендоваться. Прошу, поэтому, будь, матушка, спокойна.

Говоря это, Захарий сел за ужин чрезвычайно оживлённый и обратил разговор на то, что оставлял дома. Вино нужно было убрать, другое очищать, получить транспорт, который должен был подойти, сделать выплаты за разный период, что всё мать брала на себя.

– Дитя моё, – ответила она, выслушав его, – а когда ты вернёшься?

– Ха! Ха! – засмеялся резко Захарек. – Это только Господь Бог может знать, но, верно, что скучать буду по тебе, и поспешу, насколько смогу.

– А! – добавила заботливая мать, вздыхая снова. – Не одной тревогой меня наполняют эта твоя суета и стремления, мой Захарек. Ты сам мне поведал о поляках, что они люди дерзкие, до ссоры и рубки очень скорые.

– Те, моя дорогая матушка, – ответил живо Захарек, – которые сабли сбоку носят, я же купец, спокойный человек и тростью или локтем подпираюсь.

Желая свернуть с этого раздражительного предмета, Витке упомянул Пшебора, о котором рассказал матери.

– Мне интересно, что с ним стало? Кто же знает? Может, придётся встретиться в Кракове, потому что один Бог знает, где он обращается. Вырвался отсюда неожиданно с моей помощью, а если бы я знал, что на следующий день его Флеминг по всему городу будет искать, я не был таким скорым для облегчения его бегства. Но это маленькая вещь и, должно быть, пани Пребендовская имела от него немного утешение.

– О! Я вовсе не хочу, чтобы ты с ним встретился, – добавила Марта, – у этого человека зло из глаз смотрит.

– Но это бедняга, который никакого значения не имеет, – прервал купец.

– И этим более опасен, – отпарировала Марта, – потому что жадный; чтобы приобрести, готов на самую большую подлость.

Захарий подтвердил это движением головы.

– Я также не думаю с ним знаться, – сказал он коротко.

На следующее утро ещё не совсем рассвело, когда Захарий был уже в удобной карете, с двумя челядниками, и, попрощавшись с матерью, которая слегка благословила его святым крестом, пустился в дорогу отважно и весело.

На том тракте, который вёл из Дрездена в старую столицу, хотя не было ещё ни саксонских отрядов, которые должны были туда направляться, ни двора и экипажей короля, предшествующих ему, уже царило большее оживление, чем обычно. В гостиницах встречал купец и из Дрездена и в Дрезден направляющихся господ, дворян, духовенство и военных. Многих из них Витке знал в лицо, но им не был знаком. Ни с кем, однако, не вступая в отношений, как можно спешней наш купец мчался в Краков, потому что нуждался во времени, чтобы там с кем-нибудь познакомиться, а указаний имел мало. Только Баур дал ему письмо к торгующему так же, как он, тканями краковскому мещанину, Халлеру человеку богатому, который, хотя за несколько поколений стал поляком, своего немецкого происхождения не отрицал и языка не забыл.

Захарий, деятельный и внимательный, даже в дороге не преминул вытянуть из неё пользу, разглядывая встречаемых людей и прислушиваясь к разговорам.

Из них он только одно мог извлечь: что, хотя Август был выбран и готовился уже прибыть и короноваться, в Польше не имел ещё уверенной поддержки. Ему даже казалось, что курфюрст стал слабее, чем представляли в Дрездене. Он слышал рассказы, что в самом Кракове было много сторонников Конти, а дворец в Лобзове, который намеревались занять, прежде чем мог состояться торжественный съезд в Кракове, занимал Францишек Любомирский, староста Олштинский, с отрядом войска. По правде говоря, эту его горстку саксонцы легко могли оттуда выпроводить, но напрашиваться на борьбу перед коронацией было совсем не политичным.

Наконец, очень торопливо, Захарий, обогнув Лобзов, остановился на Старом рынке в Кракове, где, когда ему пришлось искать гостиницу, оказалось так трудно получить её, что рад не рад с письмом Баура должен был пойти на Сукенницы искать Халлера. Легко ему было его найти. Средних лет, серьёзный, красивой внешности краковский купец, получив письмо дрезденского приятеля, деятельно и горячо занялся порученным ему Захарием.

– Гостиницы искать вовсе не нужно, – сказал он любезно, – мой дом открыт для вас. По правде говоря, значительную его часть я должен был уступить одному из наших панов, но комнату для вас найду всегда, а конюшни и каретные сараи поместят вашу карету с конями и людьми.

Не хотел уже Халлер слышать о том, чтобы это иначе могло сложиться. Видимо, рад был гостю и потому, что от него мог что-нибудь ещё узнать о курфюрсте, о котором ходили очень разнородные слухи. Одни его там представляли как очень опасного человека для вольности, другие как желаемого для наведения порядка пана.

Халлер, что легко можно было понять из разговора с ним, был очень умеренным, выжидающим и осторожным, а так как на своём положении советника города не много мог и не хотел стремиться высоко, удовлетворился осведомлённостью тех дел, которые его ближе всего интересовали.

С первых произнесённых слов гость взаимно понравился хозяину. Захарий тут почти мог сделать первую попытку воспользоваться выученным польским языком. В дороге ему несколько раз с этим удачно повезло; с Халлером также, объясняя заранее, что языком владеет без опыта, а рад бы приобрести лёгкость в произношении, повёл разговор на польском. Он шёл у него даже лучше, чем ожидал, потому что Халлер на германизмы не обращал внимания. Письму Баура прибывший должен был радоваться, потому что попасть лучше, чем на старого Халлера, было трудно. Опытный, спокойный краковский мещанин, хоть немногословный, на все вопросы отлично отвечал, потому что никто лучше него о текущих делах информирован не был.

На то, что поведал Халлер, смело можно было положиться.

Семья купца состояла из жены-польки, женщины очень милой и темпераментом похोдившей на мужа, из подрастающего уже сына и двух дочек подростков. Торговлю, как легко мог убедиться Захарий, вели Хеллеры на большой шкале, имели второй магазин в Варшаве и ощущался достаток дома.

Как причину прибытия в Краков Витке подал желание осмотреться в торговых целях и приобрести связи, которые должны были сблизить друг с другом два государства, объединённые под одним скипетром. Когда после обеда они остались одни, Халлер первый начал с любопытством спрашивать гостя о курфюрсте, причём Захарий узнал, как тут обстояло его дело. Халлер не предсказывал будущего.

– Нет сомнений, – сказал он, – что большинство и законность при элекции имел Конти, но у вашего саксонского курфюрста при его меньшинстве много преимуществ и возможности, каких не хватает французу. Его войско стоит на границе, горстка людей, что его выбрала, подвижная, смелая и деятельная. Дай Боже, чтобы примас Конти до конца сохранял верность, а когда и как он прибудет... вещь сомнительная... Когда выбранный королём Август поспешит, коронация сразу свершится. Трудно с ним будет бороться французу.

– Но как же дела обстоят тут в Кракове? – спросил Захарий. – Лобзов, слышал, занимают Любомирские, враждебные курфюрсту. Он сам держит замок Велопольский и отворять его нам явно не желает.

– Всё это правда, – шепнул Халлер, – но это может перемениться... Мы уже во время элекции и при правлении последнего короля или, скорее, королевы, потому что она распорядилась и хозяйничала, к торговле и торгашам привыкли. Вы всё-таки должны знать, что сам пан каштелян Пребендовский, прежде чем договорился с курфюрстом, другого кандидата на трон поддерживал. То же самое может случиться с другими, которых возможно приобрести деньгами и интересами... Войско неоплаченное... также жаждущее денег, пойдёт с тем, кто ему хоть часть задолженности перечислит.

Халлер замолчал.

– Значит, дело нашего господина обстоит неплохо, – сказал Витке, – я рад этому... Он, наверное, не замедлит этим воспользоваться.

С неприязнью спросил краковянин о королеве.

– Она будет сопровождать мужа? Говорят, что в пактах обещали, что и она примет католическую веру, и, сложив с себя прежнее вероисповедание, должна быть коронована.

– О тех пактах я так хорошо не осведомлён, – отозвался Витке, – но уверен в том, что от своего евангелического вероисповедания жена курфюрста не отречётся, хотя бы из-за него корону потеряла.

– Поэтому я не знаю, как паны с этим справятся, – добавил Халлер. – Нам, однако же без королевы можно обойтись, а трон не является наследственным.

Захарий спросил об особе примаса, о котором очень разное говорили, а Халлер как-то несмело и колеблясь дал двусмысленный ответ.

– Он благоприятствовал Собеским, – сказал он, – теперь поддерживает француза... настаивает на нём, потому что его окружает партия Конти, но ни за что нельзя поручиться... Влияние на него оказывает семья, пан и пани Товианские... и другие. К деньгам он также, говорят, равнодушен.

Результатом этого первого дня было то, что Захарий вовсе духа и надежды не потерял, что тут справится. Дело шло только об очень ловком установлении отношений... В последующие дни возможности к этому начали проявляться. По Кракову, который теперь от долгого запустения стал почти маленьким городком, каждый слух расходился очень быстро. Никто не появлялся на местной брусчатке, о ком бы сразу не рассказали. Поэтому прибытие Витке не прошло незамеченным... Все были чрезвычайно любопытны узнать что-нибудь больше о будущем короле. Двери у Халлеров не закрывались.

Захарию было это на руку, потому что имел возможность собрать мнения о курфюрсте, и из того, что слышал, сделать вывод, что его здесь ждало.

Первым выводом, которого он опровергнуть не мог, было то, что своевольный в своём государстве курфюрст, непривыкший уважать законы, которые сам диктовал, будет тут иметь много трудностей со шляхтой, ревностной за свои привилегии.

Спустя несколько дней по прибытии саксонца появился старый знакомый Халлера, старый уже стольник Горский, который по старой привычке стоял в гостинице у Халлера. Горский был для Витке очень интересной фигурой, из которой мог делать вывод о других. Он воплощал в себе все качества польской шляхты и панов, потому что стоял между одними и другими. Настолько богатый, что со многими магнатами мог мериться достатком, пан стольник не желал, не пробовал влезать между ними, хоть род и обширные владения эти колебания оправдали бы. Он остался шляхтичем, не добиваясь должностей, не окружая себя многочисленным двором. Принимали его в кругу сенаторов с уважением, среди шляхты, как пана брата, которым она могла гордиться.

Дом и обычай Горских не много имел нового, стоял при старых традициях и отличался простотой, и даже некоторой умышленной республиканской суровостью. Стольник был мужем незапятнанной репутации и ни в какие сделки с совестью не вдавался. Его суждение о делах Речи Посполитой было неумолимо строгим, правдоречивым и открытым без оглядки на людей.

Те, что в совести не чувствовали себя чистыми, а таких в то время немало уже было, к сожалению, избегали Горского, потому что он их без обиняков упрекал в ошибках и провинностях. Но этому не помочь, обходили пана стольника, кланялись ему, но неохотно завязывали разговор.

Было известно, что Горский при жизни Собеского был ему верным приятелем, но недругом королеве, а когда дошло до явного конфликта между матерью и сыновьями, он отступил от Собеских и на элекционном поле с большинством голосовал за Конти.

Его прибытие в Малопольшу и Краков имело целью убедиться там, как обстояла саксонская элекция и какие надежды мог иметь французский кандидат.

Совсем новым для пана Захария выдался этот польский шляхтич, трезвый, спокойный, в убеждениях твёрдый, неамбициозный и на вид очень холодный...

– Не берите с него примера, – сказал ему спрошенный Халлер. – Подобных пану Горскому у нас насчитывается мало.

На следующий вечер за ужином Витке оказался с ним вместе у гостеприимного стола хозяина. Горский с ним познакомился и с большим любопытством стал спрашивать о курфюрсте. Витке явно хвалил его и превозносил, а стольник терпеливо слушал.

– Вы прославляете его великую силу, – сказал он потом, – а мы ей радоваться бы должны, потому что нам господин нужен, который бы много эсцессов мог укротить, но тут препятствие. Редко кто использованию силы умеет положить границы и закон захочет уважать, когда его безнаказанно нарушить может. У нас же, что стоим на страже не только прав, но привыкли к нашему обычаю, несколько сот лет продолжается невозможное своеволие. Начиная с Батория, все наши паны пытались прибавить себе власть, а нам свободы сократить, а увеличили только беспорядки и бунты. Может, излишние вольности у нас действительно следовало забрать, но кто их вкусил, нелегко отказывается. Кто покусится на *absolutum dominium*, услышит будто бы *pereat mundus, vivat iibertas!*<sup>7</sup>

– А, пан стольник, – вставил Халлер, – ты хвалишь эти идолопоклоннические вольности?

– Я? – ответил Горский с улыбкой. – Не хвалю, не осуждаю, говорю, что вижу. Желая добра Речи Посполитой, не могу уважение законов порицать, потому что закон законом и его следует не нарушать, но поправлять, если есть злом. Это нужно внушить курфюрсту, чтобы его в небезопасную коллизию не втянуло, он не знает нас. Те, что собираются его познакомить с Речью Посполитой, вроде бы не все добросовестные.

Спустя минуту молчания Горский повернулся к Витке.

– *Si fabuia vera*, – сказал он, – потому что на высоко стоящих клевета легко сливается, говорят, что курфюрст слишком вспыльчивый, и хотя имеет жену, любовниц не скрывает, и постоянно их меняет. У нас ему это ни сердец, ни уважения не приобретёт.

Витке сильно зарумянился.

– Он молодым был, но сейчас подходит возраст, когда должен сдерживаться. Он много путешествовал, насмотрелся примеров того легкомыслия на королевском дворе в Париже. Заразу подхватить легко.

– Это так, – прибавил стольник, – чем с большей высоты течёт, тем опаснее. Прибывая в Польшу, он должен отказаться от этого, потому что там, благодарение Богу, и женщин не найдётся, которые бы захотели позора.

Не желая дольше о том говорить, Захарий перевёл разговор на богатства курфюрста, его щедрость и славу двора, наконец, на рыцарские качества.

– Мы слышали, – сказал Горский, – якобы на войне с турками он вовсе успеха не имел.

Наученный Витке назвал это завистью и предательством, а Горский, покачав головой, умолк.

– Не отталкивая вашего курфюрста, – отозвался он, – за которого я не голосовал, опять должен заметить то, что для нас более безопасным есть пан, который прибывает издалека, чем тот, который на границе имеет наследственные земли. Легко ему с саксонцами нами предводительствовать и постоянным своим войском наши свободы притеснять.

Так взаимно Витке и стольник изучали друг друга в течение вечера, причём саксонец узнал много вещей, о которых понятия не имел. Всё более удивительной казалась ему эта Польша... её шляхта, свободы и обычаи... Было, о чём подумать. Он уже делал вывод, что курфюрст вовсе эти вольности уважать не думал, но ловко смолчал и без огласки, что постепенно обратит их в ничто. Выдал это, говоря с ним, Мазотин, навели на заключение и другие указания. Что из этого могло получиться? Отгадать было трудно.

Горский, который в действительности не имел в Кракове никакого дела, объявил, что хочет тут остаться на более длительное время, чтобы быть ближе к текущим делам.

Поскольку каждый день к нему наплывало множество особ, а Халлер знал о том, что делалось у стольника, Витке также много этим воспользовался.

Мазотину он обещал давать отчёт со всего, что здесь увидит и услышит, представляющее интерес для курфюрста; поэтому через пару дней он должен был сеть за письмо, хотя к

<sup>7</sup> *pereat mundus, vivat iibertas!* (лат.) – погибнет мир, да здравствует свобода!

письму имел великое отвращение, и как купец значение документа знал хорошо и боялся его. Из Кракова до Дрездена регулярных почты не было, саксонцы, уже присланные сюда на разведку, почти каждый день высылали рапорты, поэтому с пересылкой писем было нетрудно... Той же самой дорогой Витке должен был их получить.

Вечером практически ежедневно стольник Горский, который вращался в разнообразных кругах, приходил из города, возвращаясь к Халлеру где находился и Витке... На руку это было немцу, потому что от него легче всего он мог узнать, о чём в городе и в замке прибывающие господа советовались и диспутировали, и как обстояло дело курфюрста. Горский интриг, тайных работ вовсе не понимал, считал их нечестными, не скрывал, поэтому, о чём слышал, и что думал. Захарий от него легче всего мог узнать, как тут складывались приготовления к коронации, и что привозили с собой в Варшаву из Ловича приезжающие господа.

Стольник говорил открыто, что, хотя Конти был законно избранным королём и имел за собой много могущественных людей, с трудом сможет удержаться против Августа, потому что горстка его сторонников с Пребендовскими и епископом Денбским во главе была непомерно подвижной и дерзкой, скрупулёзного уважения закона знать не хотела и шла силой... Конти тем временем тянул и денег не посылал, когда саксонец покупал всё новых приятелей, которые отступали от француза.

Примас был главной силой, на которую рассчитывали сторонники Конти, а, говоря о нём, стольник только из уважения к архиепископскому и кардинальскому сану воздерживался от суждения о характере прелата.

Ревностный католик, человек очень набожный, Горский, который каждый день начинал со святой мессы у Панны Марии, а заканчивал стоя вместе с челядью на коленях и молясь перед дорожным своим алтариком, хотя выбирал Конти, сам начинал колебаться, что должен был делать. Не то чтобы он поддался уговорам или дал себя, как иные, переманить на другую сторону, потому что для этого был слишком совестливым, но известное ему поведение апо-стольской столицы, её желания, усилия нунция Дави, сына церкви, остужали к французу.

Было очевидным, чего духовенство не скрывало, что Рим отдавал польскую корону Саксонцу и помогал в её получении с помощью отцов иезуитов, чтобы этой ценой обеспечить обращение Саксонии и династию Веттинов, которая в распространении и утверждении протестантизма принимала некогда такое деятельное участие, приманить на сторону костёла.

Горский, верный сын костёла, хотя Август вовсе ему симпатичным не был, допускал уже, что будет вынужден перейти в его лагерь. Молчал, грустный. Одно только весьма часто высказывал, что ложью и подземными дорогами не подобает монарху идти к короне, а на коварных и нечистых предприятиях он каждый день ловил саксонскую партию.

Витке, как мог и умел, защищал своего пана, возлагая интриги на людей, а рыцарский характер курфюрста превознося. Но чем больше его прославлял, согласно своему убеждению, тем он Горскому менее был по вкусу.

– Он неженка, любит роскошь, – говорил он открыто, – покрывается золотом, драгоценностями блестит, а нам этого не надо, а возвращения к кожуху и великой простоте обычая. Нам говорят, что эти элегантность и роскошь означают рост и воспитанность населения, но я вижу, что где они укоренились, там старая добродетель пошла прочь. Что мне от роскоши, когда в нём честности нет, а для блеска торгует совестью?

Об этих голосах Витке не уведомил Мазотина, поскольку знал, что стольник сам почти один стоял при этом убеждении. Называли его чудаком. Когда Горский говорил внимательно слушающему, как проповедник, никто этого не принимал близко к сердцу и шёл потом каждый раньше выбранной дорогой.

Склоняли голову перед правильным и чистым старцем, а подражать ему никто не думал.

В городе многое ещё перед коронацией нужно было преодолеть. Во-первых, попасть в замок без использования силы могли саксонцы только с помощью Велопольского, а тот отпи-

рался и отказывал в ключах. Во-вторых, из восьми или десяти ключей от коронной казны шесть было в руках сторонников Конти, а те их не думали выпускать. Лобзов занимал Любомирский... В Варшаве хозяйничали сторонники французов, примас не хотел знать Саксонца.

Те восемь тысяч войска, которое стояло в готовности на границе, действительно было преобладающей силой против горстки коронных полков, но проливать кровь, прежде чем достали бы до ступеней трона, казалось угрожающим. Август, по крайней мере вначале, от столкновения воздерживался. Зато и он, и его партия на строгое уважение закона обращать внимания вовсе не думали.

По Кракову уже расходилась весть о том, что жена курфюрста, за которую муж ручался, что вместе с ним примет римско-католическое вероисповедание, поддержанная матерью, не думала вовсе дать себя обратить и позволить сыну, чтобы перешёл в руки католических учителей.

– Стоит как вол в пактах это условие, – говорили контисты иронично, – чтобы королева вместе с мужем стала католичкой.

Со стороны саксонцев вполголоса шептали, что подписанный оригинал этих пактов где-то потерялся и нигде его отыскать было невозможно. Только копии ходили.

Настаивали на этом с одной, пренебрегали этим с другой стороны.

Витке списывал, что слышал. Мазотин не отвечал ему на письма, не давал инструкций, велел его только осведомить через своих посланцев, что был ему рад, и хвалил ловкое поведение.

Витке, прибыв сюда под предлогом торговых отношений, и из того, что ему говорил Халлер, и из того, на что глядел, убедился, что не много мог предпринять. Всё, в чём нуждался город, было в достаточном изобилии, Захарий мог только то ввезти с выгодой в Польшу, к чему саксонцы были привыкшими, а найти тут не могли. Таких же немецких товаров для немцев насчитывалось очень немного.

Согласно заверению Халлера, в Варшаве дела с торговлей обстояли так же. Для Витке речь была не о торговых делах, но нуждался в них для прикрытия настоящей цели. Следовательно, выкручивался.

Постепенно делались знакомства, но, не раскрываясь им, Захарий пользовался ими, чтобы познакомиться со страной. Поскольку нововыбранный король только в первые дни сентября мог остановиться под Краковом, потому что должен был привести из Вены много предметов, необходимых для освящения коронации, Витке оставалось достаточно времени, чтобы предпринять экспедицию в Варшаву.

Халлер, который взялся доставить для города тёмно-красную ткань, чтобы выстелить на рынке специально одгороженное место, на котором Краков, согласно обычаю, должен был складывать почести новому пану, нуждался ещё в большом количестве ткани и намеревался её привезти от своих партнёров из Варшавы, потому что у него за неё во Вроцлаве слишком дорого требовали.

Он почти один бросил Витке ту мысль, что готов его взять с собой в новую столицу, из которой вскоре должны были вернуться. Таким образом, одного дня, с великой поспешностью, попрощавшись с паном стольником, оставшимся в Кракове, оба выехали, и с помощью знакомств, какие имел Халлер по дороге, добрались до Варшавы быстрее, чем рассчитывали.

Там краковский купец пошёл по своим делам, а Витке, освобождённый от всякой опеки и надзора, пустился в город.

После Дрездена новая столица не произвела на него выгодного впечатления, нашёл её маленькой, в очень запущенном состоянии, грязной, а что хуже, так занятой контистами, что там о Саксонце говорить было нельзя. Сразу на следующий день по прибытии с рынка Старого Города, где стояли у родственного Халлеру купца, Витке с утра отправился осматривать замок и ближайшие улицы. В этом паломничестве, в котором к великой своей радости он отлично

пользовался польским языком, прошло время почти до полудня и, воротившись назад к Краковским воротам и замку, Захарий на одном доме неподалёку от замка заметил виноградную гроздь и зелёную вьеху. Ему захотелось пить. Шинчек не много обещал, но имел французскую надпись и имя владельца-чужеземца объявляло: Jean Renard, marchand des Vins francais.

Едва он переступил порог, на него повеяла пропитанная ароматом напитков душная атмосфера помещения; прежде чем бросил взгляд на комнату, услышал крик удивления и своё имя.

За столом возле бутылки сидел, о диво! пан Лукаш Пшебор, но узнать его было трудно, так похорошел.

Во-первых, ничего в нём уже не осталось от клирика, подкрутил усы, а одежда на нём была шита распространённым тогдашним польским кроем, как с иголки, безвкусно подобранная, но яркая и бьющая в глаза.

Этот костюм делал его неприятней, чем был, нося старый костюм, но по лицу было видно, что или он, или счастливые обстоятельства добавили Пшебору отваги и свободы в обхождении с людьми. Он сидел в собрании шляхты, довольно крикливо разговаривающей, которой, казалось, предводительствовал. Увидев Витке, не обращая внимания на товарищей, пан Лукаш очень живо встал и подбежал к нему.

Саксонцу эта встреча вовсе не была приятна. Он не хотел, чтобы на него тыкали пальцами как на сторонника Августа. К счастью, Пшебор, должно быть, догадался об этом, и с кривой усмешкой и показом великой радости поздоровался с ним, как с силезцем.

Шляхта, сидящая у стола, которой пан Лукаш что-то шепнул, видно, уже долго тут пирующая, потому что имела горящие лица и перед ней стояло достаточно пустых рюмок, встала из-за стола и начала расходиться.

Пшебор остался. Витке, заняв место у освободившегося столика, велел подать бутылку вина и две рюмки, потому что знал, что Пшебор, хоть уже не жаждущий, не откажется от приглашения.

Чрезвычайно возбуждённый интерес струился из его глаз.

– Ради живого Бога! – воскликнул он. – Что вы тут делаете? Скорей бы ожидал сегодня увидеть, не знаю кого, нежели вас!

Витке имел время подумать над ответом.

– Простая вещь, – сказал он, – я купец, я говорил вам, что думаю основать здесь торговлю, я прибыл оглядеться.

Пшебор глубоко уставил в него глаза.

– Ну и что же? – спросил он.

– Ничего ещё не знаю, – довольно равнодушно ответил Витке. – Я был в Кракове, но это будто умерший город, который, может, только на короткое время оживёт, а Варшаву надо лучше узнать.

И добавил с умышленным акцентом:

– Чего вы имеете вдоволь – это грязи.

Пан Лукаш рассмеялся.

– Осенью? Что удивительного! – сказал он немного обиженно. – Впрочем, иное дело – немецкий город и польский, мы к мелочам значения не привязываем.

Он махнул рукой.

– Что же у вас слышно? – продолжал он дальше. – После моего бегства пани Пребендовская надела по крайней мере траур?

Он очень громко рассмеялся, аж по избе разошлось.

– Что касается меня, – добавил он, – как видите, сутану я выбросил за забор и вернулся к свободе, сабельку, как подобает, припоясав.

Он покрутил не слишком выросшие усики.

– Но и от злости на Пребендовских, – сказал он, – перекинулся к контистам, которым служу...

Он бросил на Витке взгляд, но тот, ни удивления, ни жалости не показывая, шепнул только:

– И как успехи?

– У меня самые лучшие надежды... я узнал уже много особ, обещают мне достаточно, наш Конти не так безопасен, как может показаться, и только что-то его не видно в Гданьске, где должен высадиться с огромным флотом и значительной силой, а там также его уже немалые отряды ожидают. Мы имеем за собой примаса, а тот один за десять региментов будет значить.

Сказав это, Пшебор немного подождал, не услышит ли какого ответа, но Витке налил ему опустевшую рюмку и только пожал плечами.

Только после короткого молчания саксонец отозвался:

– Как хорошо, что я вас встретил и информацию получил, поскольку оказывается, что я тут буду не у дел и нет необходимости вино продавать, когда французы уже заранее своих имеют.

И рукой показал на помещение, в котором находились.

– Да! – рассмеялся Пшебор. – Хозяин тут Ренар... и вроде бы не с сегодняшнего дня. Не знаю, отец его или дед при королеве Марии Людвики здесь осел. Торговля у него идёт хорошо, человек степенный... жена ещё совсем красивая, а была очень красивой. Доченька же...

Говоря это, он задел локтем Витке и указал на дверь.

В ней как раз стояла та, о которой говорил.

Был это ещё ребёнок, но такой предивной красоты и великого обаяния, такой восхитительный, что глаз от него оторвать было нельзя. Когда показалась маленькая Генриетка, все гости обернулись к ней, глядя как на чудесную картину...

Смелая девушка, потому что с детства привыкла к чужим, с кокетством не по возрасту улыбалась своим поклонникам. По ней было видно, что родители её любили и нежили, потому что одета была весьма элегантно, и даже с утра на ней были драгоценности; выставляла напоказ их и себя.

Такого красивого ребёнка, потому что Генриетке было не многим больше десяти лет, трудно было найти не только в ординарной пивнушке, но и в панских дворцах. Витке, который любил детей и красивыми личиками в целом не гнушался, созерцал её явно восхищённый.

Девочка с тёмными волосами, с локонами, опущенными на плечи, в коротком бело-розовом платьице, в ботиночках на красных каблукках, со своим личиком красивого овала и деликатных черт была будто для рисования!

Знакомый уже Пшебор улыбнулся ей, очарованный.

– А что будет, когда этот чудесный цветок расцветёт полностью, это панский кусочек, но в такой пивнушке, где всякой молодёжи всегда бывает полно...

Он вздохнул и недокончил.

В ту же минуту вышла так же одетая мать Генриетки, почти такая же прекрасная, как она, но дама уже второй молодости, энергичная и полная; нагнулась к ребёнку и немного сопротивляющегося убрала с любопытных глаз, уводя с собой.

Пан Лукаш, который уже и раньше был под хмельком, а крепкое вино Витке ещё больше вскружило ему голову, нагнулся через стол к купцу и начал болтать, что ему слюна к устам принесла.

– Я так же хорошо, как на службе у примаса, – говорил он открыто, – воспользовался тем, что при той Пребендовской висел. По многим делам я мог их объяснить, а чем меня ваш Саксонец интересует? Увидим, как вещи обернутся, уж не может быть, чтобы французы имели меньше денег, чем один курфюрст саксонский, но что-то до сих пор их не видать, а саксонские

талеры курсируют густо. Примас жалуется, что они у него каждый день людей оттягивают. Хе! Хе! Я бы и за него самого не ручался.

Витке улыбнулся.

– Вы так думаете? – спросил он на вид равнодушно.

– Сам кардинал, – сказал Лукаш, – наверное, продать себя посрамился бы и за слишком мало его купить нельзя; но около него баб достаточно.

– Как это – баб? Возле архиепископа? – спросил с интересом Витке.

– Не подумайте ничего плохого, – отпарировал Пшебор, – упаси Боже, но он племянницу очень любит, Товианскую, а та драгоценности любит, а близкая также родственница, княгиня Любомирская... – он покрутил головой, попил и продолжал далее: – Примас имеет слабость к Товианским.

Пан Лукаш не заметил, когда, не очень даже побуждаемый к этому, во всём исповедался. В свою очередь начал спрашивать так же купца, но тот говорил только, что хотел, и что ему было нужно. Разболтал, якобы случайно, что Флеминг вёз на коронацию целые бочки золота для оплаты войску, целые сундуки драгоценностей на подарки друзьям.

Пшебор многозначительно качал головой.

Наконец купец узнал от него, что Радзиёвский должен был отправить письмо к саксонскому электу в красивых и мягких выражениях предупреждая его, чтобы спокойствие Речи Посполитой не нарушал раздвоением, когда его незаконный выбор никоим образом удержаться не мог.

Так же пан Лукаш знал о том, что если в Кракове соберётся коронационный сейм, примас созовёт другой в Варшаве и объявит мятеж.

Долго так просидев, Витке, когда наконец собрался уходить, прощаясь с Лукашем, не мог от него избавиться, потому что сопровождал его аж до гостиницы.

## V

Десятого сентября удивительные вещи уже рассказывали в Кракове о той неслыханной роскоши, с какой Август ехал в сожжённый добровольно Любомирскими Лобзов.

Из столицы вереницей текли люди туда и обратно к стенам дворца, чтобы поглядеть на чудеса, о каких разглашали.

Действительно, Август не жалел на показ, которым мог дать полякам лучшее представление о своих богатствах. Эта роскошь была дана курфюрсту на веру венскими купцами или неслыханными притеснениями собрана у его саксонских подданных. Полный переворот повлёк этот выбор курфюрста, особенно в многочисленных урядниках страны, которые все сразу были понижены, и кто оплатить не имел чем, чтобы удержаться в должности, должен был уступить более состоятельным. Кроме того, установили акцизу, набросили на дворянство контрибуции, и бедная Саксония заранее проклинала Польшу.

Но зато нужно было видеть, как Август по-королевски расположился в Лобзове. Одних позолоченных и серебряных господских карет насчитывали сто двадцать пять, несколько сотен коней, а некоторые из них поднимали на себе неслыханной роскоши сёдла и попоны. Пажей, лакеев, гайдуков в новом цвете, обшитых галунами, нельзя было сосчитать. Трабанцы, шайецары, гвардия, пушки огромной величины, запасы ядер и пороха, сорок верблюдов, обвешанных пурпуром и золотом, сопровождали подражателя Людовика XIV.

Шептали, что один маршальский жезл, который несли перед королём, весь усеянный бриллиантами, был оценён в тысячу дукатов.

Видел уже и помнил старый Краков не один раз въезжающие сюда господские кортежи, равно дорогие и великолепные, но на них вся страна сбрасывалась, особенно паны и рыцари, теперь же очень уменьшенную численность панских отрядов должна была заменить одна роскошь курфюрста.

Несколькими днями ранее наш знакомый Витке, в котором уже трудно было угадать купца, одетый по французской моде, в парике, крутился около замка.

Казалось, он имеет тут добрых знакомых и связи. Прибывшего вечером, его ожидал важный пожилой урядник двора, командующий замком, и с уважением проводил его через пустые коридоры в комнаты, которые занимала сама пани.

Его тут явно ожидали. Матрона средних лет и выглядящая по-пански, изысканно убранная, покрытая драгоценностями, приняла прибывшего, которого только что впустил проводник, и не без некоторого смущения указала ему место за столом.

Витке, как если бы никогда в жизни ничего другого не делал, с великой ловкостью отчитался в каком-то посольстве и после короткого вступления достал из одежды коробочку, принесённую с собой. Отворил её, поднося к глазам пани, которая, хотя зарумянившаяся, с великой заботой начала к ней приглядываться. Румянец обливал её лицо, руки дрожали, взгляд бегал по пустой комнате, как если бы она боялась быть пойманной на этой сходке, таинственную цель которой, казалось, заслоняют огнём стреляющие во мраке бриллианты. Брала её, приглядывалась и бросала, придвигала и отталкивала лежащие на столе драгоценности, казалось, борется с искушением. Витке в молчании с уважением ждал какого-нибудь решительного ответа. Многократно дрожали губы, как если бы хотела говорить, и закрывались, потому что учащённое дыхание говорить не давало. Камни были дорогостоящие, а важная пани, может быть, первый раз в жизни была подвергнута этому искушению.

Витке смотрел на неё такой холодный и на вид равнодушный, как если бы в этого рода торговле, к которой вовсе не был привыкшим, имел уже опыт и привычку.

Важная пани ещё думала, размышляя, когда купец сказал вполголоса:

– Всё-таки захват замка каким-либо образом осуществится. Ксендз епископ Денбский, пан воевода Яблоновский, маршалок Любомирский заверили в том электора, поэтому со спокойным умом, пани, можете принять этот подарок.

Губы слушающей с ударением повторили это слово.

Витке слегка подвинул драгоценности, взял шляпу в руки и, словно ему было срочно завершить дело, поклонился на прощание.

Смущённая пани встала, хотела что-то говорить и упала на стул.

Витке на цыпочках, тихо, покинул замковую комнату, победная улыбка блуждала на его губах.

Двадцатого сентября, несмотря на то, что солнце не очень хотело освещать торжества, с утра наплывали уже толпы в город, а кто туда втиснуться не мог, боялся или не хотел, останавливался на дороге, ведущей в Лобзов, по которой должен был проехать поезд Августа.

Старцам припоминались былые времена и рассказы отцов и дедов о тех прекрасных выездах, свадьбах, праздниках, которых Краков был свидетелем.

Роскошь и в этот день обещали удивительную, ослепительную, королевскую, но очень она разнилась от той, какая некогда свидетельствовала о богатствах страны и привязанности её к своим панам.

Выступала слишком малая часть магнатов, сопровождая избранного пана; всё, что тут должно было сегодня блеснуть, было саксонское и принадлежало курфюрсту. Эти отряды воевод, епископов, каштелянов, высоких урядников двора и Речи Посполитой, которые не раз насчитывали по несколько сотен коней, совсем не ожидалось. Зато собственный кортеж будущего короля должен был быть неизмеримо многочисленным и сверх всяких слов великолепным и элегантным. Те, которым удавалось втиснуться в лобзовский двор и поглядеть там на открытые кареты из золота и бархата, на коней, украшенных попонами, покрытыми гербами, на людей в самых разнообразных цветах, одетых по иностранной моде, верблюдов с выюками, повязанными восточными коврами, восхищались богатству и щедрости Августа.

Говорили, что уже миллионы рассыпал, чтобы элекцию свою утвердить, а другие столько же вёз с собой, дабы разделить между верными сторонниками.

Расположение толп, которые разогревали невидимые прислужники Августа, полностью обращалось к нему. Воспевали его мужество, силу и ловкость, ум и в то же время любезность и мягкость. Те, что его уже видели, восхищались красотой фигуры, сравнивая по очереди с Аполлоном, Гераклом, Самсоном и Марсом. Особенно любопытство женщин было до наивысшей степени взволновано.

На рынке Кракова пана Рады уже наверняка знали, что ворота замка, которые Велопольский ещё несколькими днями ранее отворять не хотел, должны были быть беспрепятственно открыты настежь въезжающему. В замке суетились с приготовлением давно оставленных и запущенных комнат, вчера вечером видели немецкие кареты, уже сюда подъезжающие и впущенные.

Мещанство, также заранее приодетое, выступало всё с цехами, знаками, эмблемами, вооружением и хоругвями, и въезду должны были прибавить, если не величия, то важности и число участников.

Когда из Лобзова дали сигнал, шли тогда впереди цеховые хоругви, каждая со старшинами и своими эмблемами, вооружённые и нарядные; за ними польская гвардия и войско, представляющее гарнизон, после них два красивых регимента драгунов, а за ними следом двадцать четыре саксонских пажа, одетых по-чужеземному.

Двадцать четыре личные лошади Августа в локонах и чубах все были одинаково покрыты чепраками из кармазинового бархата, богато вышитыми серебром гербами Саксонии и Велтинов, с инициалами короля. За ними сорок мулов имели на себе саксонские цвета, жёлтые покрытия. Они предшествовали двадцати двум каретам, так построенным, что более велико-

лепные и богатые следовали одна за другой до конца. Но собственная карета Августа затмевала их всех. Двенадцать коней серебристой масти, необычайной красоты, так отлично подобранных, точно их одна мать родила, тянули позолоченную карету, возле которой пешими шли двенадцать драбантов, в жёлтом цвете швейцарского кроя.

В шеренге карет тянулись парадные кареты императорского посла и его собственная карета.

Обученные кони, которых вели впереди конюшие, поражали красотой и изяществом, но ничем они были рядом с четырьмя осёдланными иноходцами, которых вели за каретами. Вся упряжь на них, сёдла, чубы, нагрудники светились дорогими камнями и золотом. За теми шли музыканты с трубами и бубнами. Даже палки, которыми били в котлы, блестели серебром. Они объявляли два отряда саксонских войск, которыми командовал на коне министр, граф Эцк. Иностранный авторамент, обмундирование и вооружение в Польше уже новостью не были, но король Август, выставляя напоказ свои полки, нарядил их с особенной и броской элегантностью.

Гостеприимство требовало, чтобы саксонцев пустили вперёд, а панцирные полки, шагающие за ними, сравнения вовсе не боялись.

На каждого из панов товарищей, составляющих их, стоило посмотреть отдельно, потому что, хоть все они были одеты и вооружены более или менее одинаковым образом, каждый старался фантазией и элегантностью брони, шкурой пантеры, крыльями, золочёнными копьями, сёдлами и упряжью перещеголять других, каждый отличался чем-то особенным.

Некоторые простые рядовые шеренги поднимали на себе тысячи, а с лица и фигуры скорее были похожи на командиров, чем на солдат. Самые большие имена, самая лучшая кровь Речи Посполитой шла гордо в этих шеренгах.

С ними и за ними по большей части на конях ехали сенаторы, воеводы, каштеляны, высшие урядники, каждый вёл с собой отряд побольше или поменьше. Денбский, епископ Куявский, тот, делом которого была, можно сказать, элекция, ехал с епископом Сандомирским, предшествуя коронному маршалку Любомирскому, который нёс в руке тот маршальский жезл, весь напичканный бриллиантами, уже заранее объявленный как драгоценность, приготовленный на королевские деньги.

Следом за Любомирским ехал элект и на него обращались глаза всех, изучая в нём будущее, которого он был тут представителем.

Август в этот день, по совету епископа, для завоевания себе сердец оделся по-польски. Под ним шёл конь снежной белизны, великой крови, норовистость которого укрощала сильная рука короля. Саксонский курфюрст был ещё во всём блеске юношеской красоты. Его покрывало облачение из парчи, подбитое горностаями, наброшенное на голубой жупан, который светился огромными бриллиантовыми пуговицами. Ими также были увешаны и обшиты шляпа, сабля, ремень, седло, удила и упряжь коня, на которой бриллианты блестели попеременно с большими рубинами. Над ним балдахин из алого бархата несли шесть советников города, а стражу вокруг представляли трабанты в жёлтых швейцарских цветах.

За королём ехал епископ Пашевский и многочисленное польское духовенство, капитулы, каноники прелаты, далее урядник двора курфюрста, неотступный Пфлюг, генерал граф Траутмансдорф, конюший В. фон Телау, полковник трабантов и личная королевская гвардия, королевские кирасиры и т. п.

Саксонская пехота, расставленная с обеих сторон дороги, несла охрану вплоть до замка. Не оставили навьюченных верблюдов в Лобзове, потому что их вьюки, должно быть, содержали таинственные, сказочные сокровища, которые Август обещал рассыпать в Польше.

Всё это вместе взятое, хоть старались, чтобы занимало много места и тянулось длинным хвостом, могло ослепить роскошью, но тех, что помнили старые времена, поражало скупое

участие родины... отсутствие многих семей и многих главных сановников. Те, которые до сих пор облика короля не видели, всматривались в него, желая из него пророчить будущее.

Могло оно показаться лучезарным, так как этот день был днём триумфа, а его послушное лицо сохраняло веру в себя, спокойную, важную, величественную. Мягкая улыбка, как бы полная доброты, нисходила с губ и притягивала сердца.

Многие помнили великолепную фигуру Собеского и невольно навязывалось сравнение. Более молодой Август не имел на себе величия героя Вены, но элегантностью и кокетливым обаянием его обгонял.

Эта чарующая мягкая улыбка, которая в нём подкупала, никому не выдалась тем, чем была в действительности, – надетым украшением на этот день, манящая, под которой было напрасно искать сердца. В простоте своей всегда склонные к принятию с доброй верой того, что говорило их сердцу, поляки шептали: «Добрый будет... щедрый... мягость из его глаз смотрит, а при великой силе может ли быть более желанным?»

Таким образом, все радовались...

На рынке с горстью великополян стоял вовсе ничем не выделяющийся стольник Горский. И он прибыл сюда, чтобы что-нибудь предсказать из аспекта электа, как выражался... Выбрали ему такое место, чтобы удобно и свободно мог лицезреть Августа. Уставил также на него глаза с такой силой, что на себя обратил королевский взгляд... Этот взгляд, должно быть, поразил проезжающего электа, смело и упорно он влезал как бы в глубины его души.

Горский, отталкиваемый острым взглядом Августа, не отступил перед ним. Два этих изучающих взгляда боролись друг с другом, и гневные глаза короля с некоторым нетерпением отвернулись в сторону.

«Он плут и комедиант!» – отозвалось в душе стольника, который отпихнул эту навязчивую мысль.

Незаметно, словно нагрешил этим, он ударил себя в грудь и шепнул: «Прости меня, Господи! Грешно, может, осуждаю то, чего не знаю. *Parce domine*».

– Ну что, пане стольник? – раздался сбоку голос сопровождающего его Моравского.

Горский обернулся к нему с грустным выражением лица. Казалось, Моравский требовал приговора для этого короля, которого первый раз видел.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.